

Митхикита Михалков

вечер с

1/2012
иногда
убитый
даль к
с рывком
их пов
как

даль к
с рывком
их пов

как бы рывком с н

МОИ ДНЕВНИКИ

1972-1993

«Иль все пришло к мне?..»

Никита Михалков
Мои дневники

«ЭКСМО»

2016

УДК 791.43.071.1(470)
ББК 85.374(2)6-8

Михалков Н. С.

Мои дневники / Н. С. Михалков — «Эксмо», 2016

ISBN 978-5-699-90575-1

Это мои записные книжки, которые я начал вести во время службы в армии, а точнее, на Тихоокеанском флоте. Сорок лет катались они со мной по городам и весям, я почти никому их не показывал, продолжая записывать «для памяти» то, что мне казалось интересным, и относился к ним как к рабочему инструменту. Что же касается моих флотских дневников, вообще не понимаю, почему я в свое время их не уничтожил. Конечно, они не содержали секретных сведений. Но тот, кто жил в советское время, может представить, куда бы укатились мои мечты о режиссуре, попадись это записки на глаза какому-нибудь дяденьке со Старой площади или тётеньке из парткома «Мосфильма». Потому и прятал я дневники все эти годы. Но прошло время. И с такой скоростью, таким калейдоскопическим вихрем изменился ландшафт внешней и внутренней нашей жизни, что мне показалось – эти записи, сделанные то карандашом, то авторучкой, то в одном конце страны, то в другом, становятся определённым документом осознания времени, истории, человека.

УДК 791.43.071.1(470)
ББК 85.374(2)6-8

ISBN 978-5-699-90575-1

© Михалков Н. С., 2016

© Эксмо, 2016

Содержание

От автора	7
Призыв в тумане	11
Перелет	16
Борьба за смирение	19
Дневники и записные книжки	24
Введение к дневникам 1972–1973 гг.	24
Первая тетрадь	27
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Никита Михалков

Мои дневники

© Михалков Н., 2016

© Киноконцерн «Мосфильм» (Кадры из фильмов)

© ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

От автора

Публикация записных книжек никогда не входила в мои планы. Но когда я оказался на берегу Тихого океана, в Краснознаменной Камчатской флотилии, на меня обрушилось такое количество впечатлений, что я просто не мог удержаться от того, чтобы не начать хотя бы фрагментарно их фиксировать. Поскольку понимал, что сохранить в памяти все удивительные ситуации, их детали, тонкости, словечки, речевые обороты было просто невозможно.

Тогда я и начал вести дневник, хотя по армейским законам это категорически запрещено. Когда же, через какое-то время, уже вернувшись с флота, я заглянул в эти помятые тетрадки и увидел, что там написано, меня охватил ужас. Потому что, если бы тогда, когда эти страницы писались, они попали бы кому-то на глаза, это могло иметь для меня самые серьезные последствия. Дело, конечно же, не в том, что я – диссидент, я никогда им не был, а в том, что те зарисовки, которые я тогда вносил в тетради почти ежедневно, при последовательном складывании их в сознании читателя давали, прямо скажем, довольно-таки жуткую картину. И тем более обидно, что эта жуткая картина вырисовывалась в стране, которую я очень любил и люблю.

Сравнительно недавно, работая над сценарием картины «Солнечный удар», я перечитывал «Окаянные дни» Бунина. И поймал себя на мысли, что если бы Иван Алексеевич писал эту книгу по прошествии многих лет своего эмигрантского изгнания по воспоминаниям, в которых уже в известной мере затихла бы боль мгновенных впечатлений от революции и Гражданской войны в России, это была бы совсем другая книга. Возможно, более мудрая и гармоничная. Может, в ней было бы больше «литературной округлости», изысканности и чистоты формы, которой Бунин владел в совершенстве. Наверняка многое было бы «перформатировано», и в книге уже не соблюдалась строгая последовательность событий. Как литературное произведение эта книга могла бы получиться более совершенной, но ушло бы главное – этот нерв, это почти осязаемое ощущение оскорбленного самолюбия русского интеллигента, большого писателя, столкнувшегося не только с разъяренной людской массой, возбужденной революционными идеями, но еще и с трагическим опытом измены и предательства тех, кого Бунин считал той самой, ответственной за судьбы народные русской интеллигенцией, к которой он и себя причислял. Поэтому «Окаянные дни» у многих вызвали отторжение и нежелание узнать в авторе этой книги того, кто совсем еще недавно создавал тончайшую лирическую прозу – рассказы «Солнечный удар», «Митина любовь», «Легкое дыхание»... Образ писателя словно распался в сознании его читателей, привыкших к иному Бунину. На страницах «Окаянных дней» мы видим человека желчного, озлобленного, оскорбленного, больше не стремящегося ни к какой писательской «высшей объективности», не желающего ни прощать, ни понимать происходящего! И поэтому единственным способом борьбы с тем, что он победить не мог, было его раскаленное слово.

Часто дневники и записные книжки становились настоящим кладом не столько для современников автора, сколько для последующих поколений читателей. В том числе и для серьезных исследователей тех или иных событий в жизни государства. Ведь именно дневники наиболее точно определяют время – у их автора, как правило, не существует внутреннего самоцензора.

Когда мы работали с Сашей Адабашьяном над сценариями «Механического пианино» и «Обломова», пришли к одному очень интересному выводу: экранизировать надо не произведение, а автора! То есть главным в работе над текстом должен стать не сам текст, а то ощущение времени, в котором жил автор. А фиксируется это ощущение точнее и ярче всего в дневниках, записных книжках, письмах...

* * *

Признаться, к дневникам своих сверстников (в школе и в институте дневники вели в основном девочки) я относился снисходительно и даже с некоторым пренебрежением. Ну что ты, мол, записываешь каждый свой день – что делал, где был, что ел, с кем разговаривал? Кому это интересно? Разве самому тебе не скучновато?!..

Тогда я не понимал, что дневник – это как дорогое вино, которое со временем начинает приобретать совершенно иное, уникальное качество! А поскольку мне эти мысли в голову не приходили, ни в детстве, ни в юности дневников я не вел. Только оказавшись на Тихоокеанском флоте, на Камчатке, вдалеке от дома, я понял, что столкнулся с совершенно иным, неизвестным мне миром и если хоть как-то не зафиксирую его для себя, он вскоре сотрется из памяти, и восполнить это будет абсолютно невозможно. С этого момента я начал вести записи – иногда фрагментарные и конспективные, порой схематичные, в надежде, что спустя какое-то время я смогу расшифровать их из скороговорки аббревиатур и сокращений.

Собственно то, что можно назвать дневниками, это мои записи во время уникального нашего похода с юга Камчатки до севера Чукотки, который длился 117 суток. Именно это можно в какой-то степени считать дневником. Остальные записные книжки не имеют хронологического или даже логического порядка. Это поразивший вдруг пейзаж. Это раздумье над какой-то ситуацией. Это внезапная сценарная задумка. Это зафиксированное внутреннее ощущение, вызванное либо состоянием природы вокруг, либо общением с невероятно интересным мне в этот момент человеком... Либо возникшая внезапно перед глазами картинка из еще неснятого, и даже незадуманного фильма, но которая сама по себе была так богата, что хотелось специально к ней придумать эпизод и встроить его в новый фильм.

То есть это – записи, которые ведут очень многие люди творческих профессий. Естественно, не хочу ни с кем себя сравнивать, но именно в записных книжках Антона Павловича Чехова в свое время мы с Адабашьяном обнаружили всего одну фразу: «Механическое пианино», и этот образ пианино, играющего само по себе, сразу придал особый аромат и некую фантазмагорическую странность тому усадебному миру, в котором существовали герои нашего фильма по мотивам ранней чеховской пьесы «Безотцовщина». Сам факт присутствия в кадре механического пианино, взрывающегося внезапными аккордами, замечательно иллюстрировал монотонность беспечной и сонной, казалось бы, усадебной жизни, вдруг вспыхивающей страстями.

Я очень редко перечитывал свои записные книжки, а к армейским дневникам не возвращался более 40 лет, и только готовясь к публикации своей предыдущей книги («Территория моей любви»), начал их разбирать, пересматривать и с удивлением увидел, что хотя многие записи и не связаны напрямую с моими кинолентами, но содержат именно те импульсы, которые затем переросли в те или иные драматические повороты сюжета или характеры героев впоследствии написанных сценариев и снятых картин.

Дневник – это как дорогое вино, которое со временем начинает приобретать совершенно иное, уникальное качество!

То есть все это не осталось просто сублимацией тоски находящегося на краю света, вдали от родного дома человека, а оказалось воплощено потом в практической работе.

Впрочем, с огромным сожалением увидел я там и другое: какое огромное количество задумок так и осталось на страницах забытых тетрадок... Но при этом меня посетила и радость осознания того, что многие тогдашние наброски и мысли меня волнуют и сегодня, а значит, есть в них нечто такое, что не подвержено коррозии времени.

* * *

Как я уже говорил, в 70-е годы в Советской армии и на флоте к такому понятию, как дневник, было отношение довольно негативное. Это было связано и с опасностью разглашения секретных сведений, да и просто нежелательно было посвящение гражданских лиц во внутреннюю жизнь армии и флота. Не помню, было ли это прописано в уставе, но и старшины, и мичманы не раз предупреждали, что в наших тумбочках, кроме писем с родины и тетрадок с конспектами занятий, других записей быть не должно.

Но я числился человеком творческим, а кроме того, при подготовке к походу (о котором пойдет речь дальше) и во время похода работал внештатным корреспондентом «Комсомольской правды» и «Камчатского комсомольца» и обязан был писать некие очерки нашего путешествия, такие идеологически выверенные репортажи-отчеты из всех пунктов маршрута. Таким образом, мое существование с авторучкой и блокнотом стало для командиров вещью вполне обыкновенной, и какие-то тетрадки, ручки и карандаши в моей тумбочке не вызывали никаких вопросов.

Так что писать возможность я имел, но по мере заполнения страниц все лучше понимал, что попади мои записи к руководству, добром для меня это не кончится. Я ведь записывал все, что было мне интересно! Причем никак не фильтровал своих впечатлений, перенося их на тетрадные листы!

Кроме того, в то время я уже готовился к первой полнометражной картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» и, если бы не был призван в армию, уже приступил бы, наверное, к съемкам. И так как голова была занята этим, иные мои наблюдения тут же пытались найти свое место в ткани будущей картины... Итак, я вел дневник и не без оснований надеялся, что мою тумбочку «шмонать» все же не будут. Тем более, в ней всегда было много книг, писем, журналов, и это вызывало даже некоторое уважение у офицерского состава.

* * *

Готовя к печати дневники, я совершенно четко понимал, что собственно дневниковый текст, сам по себе, как бы ни был интересен, требует определенных дополнений и разъяснений. Их незачем прописывать, если автор оставляет свои записи «для внутреннего пользования», но необходимо сделать, если записи уже предназначаются для публикации.

Чтобы в настоящем издании рассказ о моей армейской службе был наиболее целостен и полон, а у читателей не возникло впечатления, что они «смотрят кино не сначала», я посчитал нелишним предварить свои армейские дневники рассказом о моем призыве в армию и первых днях службы. Этот рассказ составил когда-то несколько глав моей предыдущей книги «Территория моей любви» – я привожу его и здесь, несколько расширив, но никак не смешивая с текстом дневников.

Из той же книги я поместил сюда по окончании дневника рассказ о своем дембеле и еще некоторые записи, имеющее прямое отношение к армейской теме. А кроме того, добавил несколько любопытных, на мой взгляд, историй, связанных с авиаперелетами на тихоокеанскую службу и обратно.

Сами же записки снабдил некоторыми примечаниями и комментариями на тех страницах, где они действительно необходимы. Порой эти комментарии связаны с моим теперешним несогласием с собой же двадцатисемилетним, излишне категоричным и безапелляционным в оценках людей и событий (дань молодому максимализму). Но чаще комментарий просто вносит пояснение к некоторым фрагментам текста или отдельным словам, именам персоналий, малоизвестным понятиям, в том числе к специально-военным, географическим,

этнографическим терминам либо к специфическим приметам того времени, которые могут быть непонятны современному читателю.

Честно скажу, особенно тревожит меня лишняя категоричность в оценках тех или иных людей, с которыми сводили армейские дороги и к которым сегодня, с позиции зрелого опыта, я отнесся бы совсем иначе. Думаю, «смягчающим обстоятельством» здесь послужит то, что записи эти сделаны человеком в достаточно экстремальных условиях, да еще и не достигшим 30-летнего возраста.

Но «из песни слова не выкинешь», поэтому вымарывать эти суждения и оценки из публикации все-таки не буду (тогда собьется общее дыхание повествования, что-то станет совершенно непонятным), а просто попрошу сердечного прощения у тех людей, которых против своей воли мог чем-либо обидеть. Хотя при наличии здорового чувства юмора и самоиронии обижаться там, надеюсь, не на что. И думаю, читатель почувствует, что, рассказывая о ком бы то ни было, я не испытывал чувства самодовольства или превосходства.

Когда ты оцениваешь людей спустя время – это уже устоявшаяся человеческая позиция, но когда эта оценка фиксируется в тот самый день, когда происходило общение с ними, совершенно естественно она может быть окрашена минутным раздражением, обидой, субъективной спецификой той или иной ситуации... Но нивелировать и смягчать сегодня те мои реакции на происходящее будет не совсем честно, в этом случае и ценность дневниковой записи станет сомнительна.

* * *

По окончании всей моей армейской истории, как дневниковой, так и автобиографической, я поместил в книги записные книжки последующих лет (от 1973-го до 1993-го). В них уже нет такого подробно выписанного и большого «куска жизни», как наш «чубаровский поход» во время моей тихоокеанской службы, но и в них тоже – кажущиеся мне любопытными наблюдения, мгновенные впечатления, размышления о жизни страны и о собственной жизни и многое другое.

Немалое место в блокнотах, которые я вел, уже работая в профессии, конечно же, занимает «поток режиссерского сознания» – наброски будущих сценариев, зарисовки мизансцен, размышления о картинах коллег, описания операторских приемов и актерских ходов. То есть все то, что относится к профессии. Может быть, это пригодится кому-то из моих молодых коллег.

Но обо всем по порядку. Итак, я должен был идти в армию...

Призыв в тумане

Я был приписан в Алабино, в кавалерийский полк, где в основном служили молодые кинематографисты и другие творческие работники, уже получившие творческую профессию. Это было решено априори, и я пребывал в полной уверенности, что именно туда и попаду. Так как я учился и снимался, у меня была отсрочка. Но она перестала действовать, как только я окончил институт. Мне было двадцать шесть лет, и военкомат торопился меня отправить в армию, потому что еще немного, и исполнится двадцать семь, а это уже возраст, после которого призвать на срочную службу нельзя.

Все шло своим чередом. Я снимался у Сережи Соловьева в картине «Станционный смотритель» и ждал окончания съемок. Сережа так рассчитал график, что к моменту, когда меня заберут в армию, он закончит снимать. Хотя, как правило, если актер, который попадал в кавалерийский полк, не успевал закончить съемки, его отпускали на «Мосфильм» завершить работу. Так у меня снимался Кайдановский в картине «Свой среди чужих» – он одновременно проходил срочную военную службу.

Но случились обстоятельства, которые я не мог вообразить даже в самом фантазийном и замысловатом сне. Дело в том, что в это время у меня был роман с Олей Полянской – замечательной девушкой: красивой, нежной, умной, спокойной, с прекрасным чувством юмора и абсолютно потрясающим взглядом на мир, самостоятельным и очень оригинальным. Как выяснилось, единственный ее недостаток заключался в том, что она была дочерью крупного партийного чиновника, кандидата в члены Политбюро. И меня лично это сильно напрягало. Мне не хотелось, чтобы так или иначе моя жизнь, поступки и творческая биография в какой-то мере могли определяться высокопоставленным тестем. Я не знал, как сказать об этом Оле напрямую, что-то мешало мне, и я решил написать ей письмо. В нем я сообщал о том, что очень дорожу нашими отношениями, что бесконечно благодарен ей за те прекрасные дни.

Я несколько раз бывал в их доме и запомнил миленькую старушку, дежурившую у лифта. Мне и в голову не могло прийти, что просто так милые старушки на работу лифтерами в такие дома не попадают. Короче, я отдал конверт с этим письмом этой Марьванне и ушел. Она любезно его приняла, улыбнулась, сказала, что обязательно письмо передаст.

А через какое-то время начали происходить совершенно непонятные для меня вещи. Особенно когда пришла пора идти мне в армию...

Как только я узнал, что меня забирают в стройбат в Навои, вне себя от возмущения отправился к начальнику сборного пункта. С трудом держа себя в руках, спросил о причине такого решения.

– А твое какое дело? – отвечает он. – Ну, записали тебя сначала туда, а потом сюда. И чего?!

Я говорю:

– Но это стройбат в Навои! У меня два высших образования, я же могу пригодиться в другом месте.

А он усмехнулся в ответ:

– Да ты, Михалков, просто в Москве остаться хочешь?

Это оскорбило очень.

– Какая самая дальняя команда? – спросил я.

– Во флот! На Камчатку не желаешь?!

– Желая! – выпалил я, не раздумывая. – Записывайте туда!

Теперь настал его черед понервничать. (Видимо, такого распоряжения насчет меня не поступало.) Впрочем, он быстро сообразил, как снять с себя ответственность за мою отправку на Тихий океан.

– Пиши заявление, – протянул он мне чистый лист бумаги.
И я написал заявление...

Капитан-лейтенант, приехавший за призывниками с Камчатки, только начал набирать свою команду, и я остался ждать, когда он ее укомплектует.



Мне не хотелось, чтобы так или иначе моя жизнь, поступки и творческая биография в какой-то мере могли определяться высокопоставленным тестем.

Не знаю, как теперь, но в тот год городской сборный пункт являл собой странное зрелище. Представьте: ворота, проходная КПП, «человек с ружьем», высокий и крепкий забор простирается налево, направо... – короче говоря, огороженное с трех сторон пространство, вход по удостоверению, выход по удостоверению, а тыльная сторона «режимного учреждения» упиралась... просто в лес! Без всякого забора. Точнее, какие-то звенья забора имелись, но в общем и целом забор с тыла был не достроен. Через широкий проем совершенно спокойно ходили товарищи призывников, носилась водка (нередко ящиками!), захаживали девушки... В эти душные и дымные в буквальном смысле дни (в это время горели торфяники и Москва была чудовищно задымлена, поэтому стояла практически пустой) меня тоже навещали товарищи – и Паша Лебешев, и Саша Адабашьян... Конечно, приходили они не с пустыми руками.

Постепенно призывники сбивались в команды и отправлялись в разные концы страны, и почему-то только нашу, камчатскую, бригаду никак не удавалось сформировать до конца. В конце концов на городском сборном пункте остались только мы.

В первую ночь я ночевал на ГСП – в пустой казарме, а на второй вечер попросился у дежурного отпустить меня в город. Дал слово, что обязательно к утру вернусь. Причем слово он взял не только с меня, но и с моего сопровождающего.

Здесь необходимо пояснить, что в Москве (не знаю, как во всем СССР) раньше в период призыва на срочную службу практиковался такой метод: некоторые из военнообязанных сотрудников городских предприятий и институтов, вызываясь на сборы, получали задание –

помогать военкоматам в организации работы, в частности, присматривать за ожидающими своего часа призывниками. Вот и ко мне был приставлен такой «сопровождающий». Это был еще молодой, но уже довольно тучный сотрудник одного из московских НИИ.

Итак, мы отправились с ним в Дом кино. Там я давно уже был своим человеком, для моего сопровождающего это был дебют в пространстве «кинематографической элиты», поэтому он совершенно расслабился – напился до того, что мне самому пришлось его «сопровождать» до дома.

Вернувшись уже самостоятельно на ГСП, там переночевал, но... ни утром, ни в течение дня камчатскую команду снова не сформировали. А поэтому и на следующий вечер я, точнее мы с сопровождающим, вполне закономерно оказались в ресторане Дома кино...



Этот сценарий повторялся несколько дней кряду. День я проводил на ГСП, а вечерами вывозил моего «приятеля поневоле» в Дом кино. Порой даже оставался ночевать дома. Мне казалось, что я уже списан на берег!..

Мой сопровождающий через несколько дней такой своей работы просто изнемогал.

– Уходи ты в свою армию!.. – умолял он после тяжелого похмелья. – Не могу я больше!

Пьем каждый день!.. Жена уже косо смотрит!

Я старался его приободрить:

– Может, заберут сегодня!

В один из тех жарких вечеров, когда мы, уже не выходя с ГСП, пили водку, а мой сопровождающий как-то особенно быстро сникал, произошло нечто совсем уже странное.

Кто бывал когда-либо в таких заведениях, как городской сборный пункт, знает, каковы там туалеты, помнит длинные, в десять-пятнадцать метров писсуары с отколотыми плитками, в которых всегда журчит вода.

И вот, зайдя в тот вечер в туалет на ГСП, я случайно заметил в самом углу этого длинного писсуара, как что-то «знакомое до слез» трепетало. Сделав несколько шагов в том направлении, я понял, что это было... Чей-то военный билет.

Осторожно достав этот билет из писсуара, я раскрыл его красные корочки... и обомлел. Военный билет был не «чей-то», а мой!

Здесь необходимо пояснить, что в тот период, когда призывники находятся на ГСП, те люди, которые их отправляют, обязаны иметь их военные билет при себе – с тем, чтобы передать начальнику команды, с которым призывники поедут к месту службы.

И вот я почему-то (без единого свидетеля этого факта!) снова держал свой военный билет в руках. И тут же вспомнил слова мамы: «Если тебе что-то катится в руки просто так и ты без всяких затрат можешь протянуть руку и взять, подумай, сколько из десяти людей от этого не отказались бы. Если насчитаешь больше пяти, откажись».



Я подумал, что намного больше пяти людей воспользовались бы возможностью абсолютно безнаказанно этот билет выкинуть, порвать, спустить в унитаз. Пока медкомиссия, пока то да се... Можно включить еще какие-то рычаги – потянуть время, а в октябре стукнуло бы двадцать семь!..

И вдруг я совершенно отчетливо понял, что это искушение. Я высушил на солнце военный билет и вернул его в расстегнутый портфель мирно спящего моего сопровождающего.

На другой день, чтобы как-то разнообразить наш досуг, я предложил:

– Хочешь, с Высоцким познакомлю?

– Да ладно!..

Тут же вспомнил слова мамы: «Если тебе что-то катится в руки просто так и ты без всяких затрат можешь протянуть руку и взять, подумай, сколько из десяти людей от этого не отказались бы. Если насчитаешь больше пяти, откажись».

Мы пошли на Таганку. Спрашиваю на вахте:

– Володя здесь?

– Да, здесь.

– Пожалуйста, скажите ему, что Никита пришел. Я в армию ухожу.

Высоцкий спустился, причем сразу с гитарой, спел нам несколько песен, мы выпили... Помню только, что на сборный пункт я транспортировал сопровождающего уже на троллейбусе.

В тот вечер я остался ночевать там – так как на другой день нужно было улетать.

Однако вернемся к первопричине этих и последующих приключений, то есть к старушке-лифтерше. Конечно (и совершенно естественно!), старушка передала эти письма, так сказать, кому следует. Их посмотрели. Не знаю, показывали ли их отцу Ольги или все решалось не на столь «высоком уровне», но с этого момента (о чем я узнал позднее, когда через много лет просматривал архивные документы, связанные с этой историей) я был включен в список неблагонадежных, от которых очищали Москву в связи с приездом Никсона, президента Соединенных Штатов.

Конечно, мне было весьма лестно, что я занесен в списки тех, кто под памятником Маяковскому вольнодумные стихи читал, да только я там никогда в жизни не был.

Проститутки тогда отправляли за сотый километр, а неблагонадежных, как могли, рассовывали, так сказать, куда попало. Вот таким образом вместо кавалерийского полка я чуть не угодил в стройбат, да вовремя уехал на Камчатку.

...Стоя перед разглядывающим меня с удивлением начальником ГСП, я успокаивал себя: «Что ни делается, все к лучшему. Когда еще за казенный счет я смогу выбраться на Камчатку и побывать на Тихом океане!»

Перелет

В сформированной наконец команде новобранцев я был самым старшим. Это и по виду чувствовалось: все-таки мне – 26, а остальные – еще пацанва, по 18–20 лет. Прибыли в аэропорт Домодедово...

Нам предстоял чартерный рейс на «Ил-18». Кажется, с тремя посадками. В Новосибирске, Хабаровске и Якутске. Конечным пунктом путешествия должен был стать аэропорт Елизово, в тридцати километрах от Петропавловска-Камчатского.

Я был в кожаной куртке – широкой, летчицкой, с большим количеством карманов. И везущий нас каплей, мужик небольшого росточка, совершенно очумевший в Москве, уже крепко попивший, окинул эту куртку с множеством карманов несколько стеклянным взглядом и спросил:

– Ты водку взял?

– А что, можно?

Он не сомневался ни секунды:

– Давай беги, бери водку!

Не спросил даже: есть у меня деньги, нет у меня денег. Просто отправил и все.

Деньги у меня были. Я взял такси и домчался до ближайшего поселка, где был продуктовый магазин. Там я набрал водки, сколько в карманы влезало. Наверное, бутылок семь. А куртка широкая – не очень заметно, если равномерно по карманам рассовать.

Вернулся в аэропорт к каплею. У того один вопрос: «Привез?» – Привез.

Вскоре началась посадка в самолет. Каплей посадил меня рядом. В салоне – одни новобранцы, человек 150 примерно. Вот взлетели, «отстегните ремни», и каплей сразу – «Давай!..».

Я вынул водку, он принял на грудь стакан, еще побыл при памяти минут пятнадцать, и... больше я его живым не видел. Верней, поначалу он изредка еще просыпался, но тут же выпивал и снова «уходил в небытие»... А всех пассажиров удаляют же из самолета на стоянках. И вот я оказался в нашей команде, по сути, единственным, который мог бы, если не командовать (на это я и права не имел), то по крайней мере взять на себя хоть какую-то организацию.

Ребята-новобранцы так до конца и не поняли – кто я, что я. Видели, что я с каплеем сидел, что мы беседовали поначалу с ним и даже выпивали. И, конечно же, ребята решили, что я тоже из командного состава.

Я разделил их на пятерки, назначил ответственного и сказал: вот, братцы, мы стоим здесь час, можете пока перемещаться в пределах аэропорта как угодно, но через час – вы здесь.

– Конечно же, я не могу вам запрещать выпивать, – говорю. – Просто поймите, что если кто-то отстанет, то всем будет хреново.

Они вняли моим речам. Разбились по пятеркам и вышли в аэропорт...

Тогда первый раз в жизни увидел я одну занятную картину. В 70-е повсюду на вокзалах и в аэропортах стояли одеколоновые автоматы, но здесь впервые я увидел, как люди, после того как опускали в автомат монетку, вместо того чтобы поодеколонить лицо или иные части тела, просто разевали рот на уровне той пипочки, откуда брызгался тройной одеколон, и в них заливалось сколько положено. Если было мало, клиент опускал еще монетку (кажется, 15 копеек).

А ведь гульнуть последний раз – святое дело! Но гульнуть за сотни верст от дома, в чужом городе...

Так мы выходили на каждой стоянке-заправке. После первой остановки человека три были уже не совсем вменяемы, поэтому в следующий раз их оставили в самолете (в компании храпящего каплея). Так мы с грехом пополам, но в целостности-сохранности и без особых происшествий долетели до Елизово.

Надо заметить, что быстро сориентироваться в ситуации и организовать ребят мне помогло то, что еще в Щукинском училище я ставил спектакли, а затем во ВГИКе снимал курсовые и дипломные фильмы, в работе над которыми организаторские способности были нужны и важны. Они уже стали частью моего характера. Поэтому то, что я «построил» брошенных и предоставленных судьбе ребят, было достаточно естественным шагом для меня.

К прилету в Елизово наш каплей немножко оклемался, но был, что называется, нехороший. Мы выгрузились, было объявлено общее построение, и перед зданием аэровокзала мы встали в три шеренги – совершенно разваленные, не очень трезвые, не очень выпавшиеся. В общем, больше похожие на бригаду эков, чем призывников. Каплей же вовсе, кажется, не представлял, что с ним все это время происходило, и, так и пребывая в состоянии общего напряжения и недоверчивости, видимо, во избежание лишних проблем... сдал меня патрулю.

Конечно, от меня тоже пахло, но я был в полном сознании! Причем всю каплееву работу проделал, и довольно ответственно. Уж не знаю, сдал он меня патрулю «по пьянке» или в похмельном синдроме – объятый иррациональным ужасом или попросту все еще был невменяем: то, что мозгу у него происходило, я не ведал. Наплести обо мне патрулю он мог все что угодно. Но зачем?! Может, успел узнать от кого-то из ребят о том, что я, по сути, исполняя всю его работу, разбивал их на пятерки, а после пересчитывал, и, опасаясь моего откровения в ответ на чей-то возможный вопрос, почему призывников сопровождал не ответственный офицер, а такой же призывник, как и все они, каплей «подстраховался» – оговорил меня перед патрульными и сдал им на руки.



Когда в комендатуре все-таки разобрались – что да как – и выяснили заодно, куда меня распределять, в аэропорту никого из ребят уже не было. А вместе с ними и низкорослый каплей исчез из аэропорта и из моей жизни навсегда. Но я запомнил на всю жизнь эту его трусливую неблагодарность, притом абсолютно не соответствующую моим представлениям о том, что такое офицер, тем более – морской офицер. Здесь же, рядом со мной, оказалось какое-то рыхлое, очень недалекое, безвольное и боязливое чмо. Ну что ж, бывает...

Никакого наказания я не понес. Ведь призывников нельзя наказывать до принятия присяги. Поэтому меня довольно резво отправили из комендатуры в полуэкипаж, где я и начал свою службу. Из тех ребят, что летели со мной в самолете, там оказалось всего человека три. Они были совершенно изумлены тем фактом, что я приступил к срочной воинской службе в звании матроса вместе с ними. «Мы-то думали, ты вместе с командиром! – качали головами. – А ты служить, что ли, тоже?» Я же словно не понимал их изумления: «Служить, ну да».

И не только у этих троих, а практически у всех ребят, еще когда я, совершенно неожиданно для них, встал в строй вместе с ними на построении у аэровокзала, возникла – и, казалось, совершенно естественно! – жгучая досада, что я управлял ими, не будучи «начальником», а значит, ими был упущен шанс послать меня куда подальше и в Новосибирске, и в Якутске, и в Хабаровске. Послать и вести себя как угодно. А там уж «однова живем», как говорится, – все равно в армию уходим. Мое несанкционированное «руководство» теперь вызывало в них негодование и ревность. Такой же засранец и гражданский шпак, как и они сами, ими командовал, распоряжался, не давал нормально выпивать! А ведь гульнуть последний раз – святое дело! Но гульнуть за сотни верст от дома, в чужом городе...

Только позже я понял, до какого все это могло дойти куража безысходного... Причем все это и для аэропортов, и для самолета, и вообще для Аэрофлота с его жестким ответственным графиком могло кончиться достаточно неприятной историей. Да и для самих ребят, не говоря уж о каплее, который вполне мог за серьезное ЧП, случившееся по его вине, поплатиться карьерой.

Но, едва я встал в строй в Елизово, по рядам полетел такой изумленный и злой ропот, что на мгновение мне стало не по себе. Я же, напротив, удивлен был тем, что они не только не испытывали ко мне и малейшей благодарности, но горячо поддержали каплея, когда он сдавал меня патрульным.

Смешно вспоминать, но каплея этого я потом даже искал. Вернее, бдительно посматривал по сторонам во время службы – вдруг где-то встретится? Да так и не привелось глянуть ему в глаза никогда.

Борьба за смирение

...В армии я полюбил писать письма. И не потому, что ты отправляешь знакомому или любимому человеку весточку о себе, а потому, что, сев за стол, начав писать, ты невольно формулируешь все то, что волнует в этих новых для тебя условиях: новые ощущения, новые отношения, новый быт, абсолютно новый взгляд на самого себя, твое новое положение в окружающем мире – непривычное, странное, иногда обидное, но невероятно важное для постижения сути твоего существования. К примеру, то, что, будучи человеком с двумя высшими образованиями, уже снявшимся в определенном количестве фильмов и достаточно известным в кинематографическом мире (да еще с такой фамилией), оказавшись на плацу, в строю, перед старшиной первой статьи Толиком Мишлановым, ты совершенно растворялся в общей массе людей в бескозырках. Поначалу это было очень тяжело.

Дело даже не в том, что тяжело вскакивать с койки по команде «Подъем!» или бегать по плацу в сапогах, а тяжело с точки зрения принятия своего бесправного положения. И здесь невероятную помощь мне оказывали усвоенные в детстве уроки: отцовское «От службы не отказывайся, на службу не напрашивайся» и поразительной мудрости слова матери: «Никогда не обижайся! Если тебя хотели обидеть, не доставляй удовольствия тому, кто этого хотел, а если не хотели, то всегда можно простить».

Именно эти два правила стали для меня в определенном смысле оберегами, теми спасительными маяками, помня о которых я научился и смирять гордыню, и управлять своим горячим характером. Причем не из страха наказания, наоборот! (Неотвратимость наказания мне обычно только добавляла куражу.)

Поначалу эта борьба за смирение проходила совсем нелегко. Но постепенно я приучил себя даже получать от этого удовольствие. Как ни странно, я взял за основу образ Швейка, такого нарочито исполнительного дурака. Сначала это было похоже на игру, а потом я вошел в этот образ, и он мне показался невероятно привлекательным и удобным, для того чтобы существовать в этих условиях достаточно свободно и легко. Занятно, что эта покорность и смирение поначалу вызвали настороженность (и даже некий злой азарт) у старшин, которые распоряжались в нашем экипаже. Они интуитивно чувствовали что-то не совсем естественное в том, с какой легкостью и удовольствием человек кидался выполнять их бессмысленные приказы, такие, например, как «продувать макароны» или что-то вроде того. Тогда приходилось хитрить.



Например, к тому времени я давно бросил курить (причем бросал не один раз), но перекур для тех, кто начинает служить в армии, – святое дело, равно как обед и киносеанс. И вот как-то во время занятий строевой подготовкой на плацу старшина Мишланов объявил перекур, и все расселись на травке около плаца, рядом с бочкой для окурков. Поискав глазами некурящих, Мишланов быстро выхватил меня из общей массы и сказал: «Матрос Михалков, тебе все равно делать нечего, сбегай, принеси мне...» – уж не помню что – сигареты, спички, свежую прессу, бушлат или что-то другое. То, за чем он меня посылал, было как минимум на другом конце плаца. А кто не знает: по плацу если один, то бегом, если вдвоем, то строем. Просто так прогуливаться там, по крайней мере у нас, было категорически запрещено. Вот я так пару раз побегал то за этим, то за тем (все курят – я бегаю, приношу, докладываю), и в один прекрасный день, едва при очередном перекуре Мишланов собрался меня куда-то отправить, я говорю:

– Извините, товарищ старшина, я курю.

– Как? Ты же не куришь!

– Нет, уже курю.

И тут же стрельнул у кого-то папироску, прикурил и тем самым как бы снял вопрос о том, должен я или не должен куда-то бежать. Ведь я, как и все, в настоящий момент имею право отдыхать: я и сижу курю.

Таких случаев было довольно много, когда, не конфликтуя и не споря, что только озлобляет человека, имеющего над тобой власть (особенно в армии, особенно «деда», как называли и называют до сей поры старослужащих), ты разворачиваешь в свою пользу ситуацию, при этом развивая у себя ту самую смекалку, которая в других условиях, более тяжелых и серьезных, частенько выручает солдат.

Итак, письма были единственной отдушиной. Я постепенно втянулся в переписку, особенно с братом. Мне казалось, что мой монолог в письме чудесно превращался в диалог с ним. Рассказывая ему о своих невероятных испытаниях, я представлял, как он все это слушает и что может ответить.

Постепенно это вылилось в довольно оживленную переписку, которая очень помогала мне осмысливать свои впечатления, заодно эмоционально освобождая от них мою душу.

Впрочем, вскоре мне стало не хватать эпистолярной отдушины, и я завел дневник и вел его почти каждый день. Особенно часто делал записи во время похода с юга Камчатки до севера Чукотки...

Эта сложнейшая экспедиция была организована благодаря Зорию Айковичу Балаяну, в будущем – писателю и общественному деятелю, в те времена работавшему на Камчатке врачом. Так что я благодарен судьбе, забросившей меня на берег Тихого океана, в том числе за встречу с этим уникальным человеком.



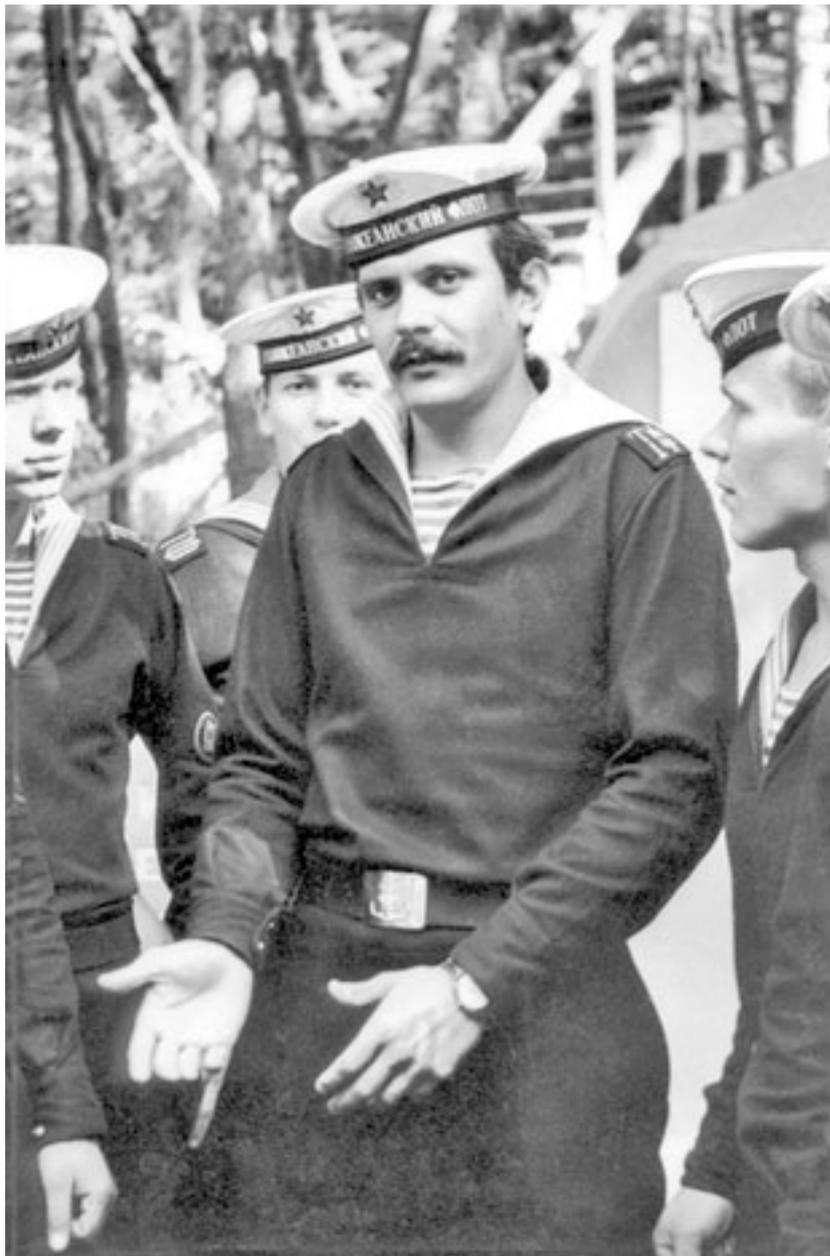
Старший матрос Михалков с товарищами по оружию на Тихоокеанском флоте. 1972 год.

...Я хорошо помню, как мы – мой непосредственный начальник, с которым мы быстро сдружились, капитан первого ранга Вячеслав Пантелеев и капитан-лейтенант Котилевский, работавший в штабной разведке, – в конце лета 1972 года чуть ли не ежедневно выходили на небольшой яхте «Дельфин» в знаменитую Авачинскую бухту. Мне тогда посчастливилось по выходным, когда я получал увольнительные, несколько раз выходить с ними на яхте в открытый океан. Вскоре к нам присоединился и Зорий Балаян.

Вот что писал Зорий о тех днях наших походов в своей книге «Белый марафон»: «Дух захватывало каждый раз, когда приближались к Трем Братьям – трем гигантским скалам, стоящим бок о бок у входа в открытый океан. Туда нас всегда тянуло – на простор, где и цвет воды другой – более небесный, где и волны покруче, и белые «барашки» побелее и покрупнее! Но слишком маленький наш «Дельфин». Он даже меньше тихоокеанского «барашка». Да и не делается это просто так – захотел и вышел в океан. А главное – тогда у нас была другая цель, другая дорога».



Скалы «Три брата» в Авачинской бухте у выхода в открытый океан



С однополчанами

Да, тогда у нас была другая дорога. Однажды на яхте Зорий вдруг сказал, что скоро сделает мне замечательный подарок. Он попросил капитана «Дельфина» выйти из Авачинской бухты на несколько кабельтовых в открытый океан. И уже там попросил, чтобы я спел из фильма «Я шагаю по Москве» строки: «А я иду, шагаю по Москве, / Но я пройти еще смогу / Соленый Тихий океан, / И тундру, и тайгу...». И, когда я выполнил его заявку, уверенно провозгласил: «Вот, походили по Тихому океану, но несомненно пройдем вскоре и тундру, и тайгу!»

Через несколько месяцев мы углубились в тундру... Я и впрямь получил, может быть, самый бесценный подарок в моей жизни. Слова гениального Гены Шпаликова из песни, которую я пел в фильме «Я шагаю по Москве», песни, которую пела вся страна, оказались пророческими.

Дневники и записные книжки

Введение к дневникам 1972–1973 гг.

Итак, работавший в то время главврачом спортивного диспансера в Петропавловске-Камчатском Зорий Балаян обратился к дальневосточным властям с абсолютно идеологически выверенной инициативой. Зорий просил помочь ему в организации похода «по огненным вехам», как любили тогда выражаться, отряда большевика Григория Чубарова, который устанавливал в годы Гражданской войны здесь советскую власть. Почин Зория, спустя неизбежное время бумажной волокиты, был поддержан и местными партийными органами, и комсомолом. К походу «по местам революционной и боевой славы» незамедлительно были привлечены редакции газет и радио. Необходимое содействие обещали и войска – ведь маршрут экспедиции пролегал по весьма суровым местам, где могли потребоваться армейские тягачи и вертолеты, и даже оружие – в качестве защиты от диких зверей.

Таким образом, и я, как матрос срочной службы, отвечающий за исправность и сохранность оружия, был экспедиции Зория придан. В моем ведении были карабины СКС, ракетницы, цинк с патронами и пистолет Макарова с двумя снаряженными обоймами. Я, естественно, отчасти напросился сам, пообещав по совместительству исполнять и обязанности спецкора – то есть писать репортажные очерки о нашем путешествии в «Комсомольскую правду» и «Камчатский комсомолец» и отправлять их в редакции из всех пунктов нашего маршрута.



Командир Красной армии Г. И. Чубаров

Зорий назвал эту экспедицию «Карабах» – в честь своей малой родины. С нами шли один журналист, один представитель обкома комсомола (звали его, кажется, Евгений Милявский) и один... поэт. Да, да, национальный корякский поэт – Володя Косыгин (литературный псевдоним – Каянта). Этот сорокалетний путешественник оказался самым колоритным моим спутником, что, надеюсь, будет очевидно из самих записок.

Позднее к нам присоединились и мои коллеги, региональные киношники. Дело в том, что хабаровская телестудия решила снять научно-популярную короткометражку, цели и художественные задачи которой припоминаю уже смутно. Фильм, кажется, должен был быть связан и с нашим путешествием, и с революционным походом Чубарова, и с восторженным

освещением всего того, что уже сегодня, «в период развитого социализма», происходит в городах и весях, куда Чубаров привел некогда советскую власть.

Оператором был хабаровчанин Гена Лысяков. Меня же студия поначалу планировала в качестве режиссера, ходатайствовала об этом у командования округа, но так и не получила согласия – и я, отсняв несколько первых сцен для их фильма (кстати, в невероятных погодных условиях, при температуре -50°C , в жуткую пургу и почти без света), с чистой совестью оставил эту работу и впредь ограничивался дружескими консультациями.

Но все это случится только через несколько месяцев нашего похода, который, как я только потом понял, дал мне столько, что трудно было себе даже представить. Это касается и творческих идей, и человеческого опыта, и тесного общения с суровой природой, и понимания того, что человек – только малая часть этой природы, и он должен осознавать это всю жизнь и в любых обстоятельствах.

Итак, в путь!..

Первая тетрадь

29. X.1972

Готовимся. Авантюра полная. Мало что продумано. Идеологическая сторона дела освещена и подготовлена, то есть сделано все, что им необходимо для «галочек». Все остальное же брошено на произвол судьбы. Вымпелы есть, альбом есть, формально «есть все», нет только того, что необходимо делать, прилагая усилия. Митинги же и тому подобное «на высшем уровне».

29. X.72

Стадион. Торопливый лживо-формальный митинг. Холодные, фальшивые речи, напутствия. Стадион пуст. Холодно, солнце, страшный ветер. Хочется выпить. Фоторепортеры, хроника.

29. X.72

Елизово. Приехали. Никто ничего про нас не знает. Поели пельменей, легли спать. Вечером пригласили на комсомольское собрание, посвященное дню рождения комсомола. Тоска зеленая. Еще раз убеждаюсь, как официоз и фальшь чудовищно выжигают вообще все человеческое. В гостинице по трансляции, т. к. она принимается через спутник, то и дело (возможно, совершенно случайно, но очень отчетливо) слышим позывные, а затем голос: «Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона».

Вечером сидели, Косыгин рассказывал трогательные истории. Милый человек. (*Владимир Косыгин – корякский поэт, литературный псевдоним – Каянта. – Современный комментарий автора.*) Рассказал о пастухе, герое соц. труда, который поехал на сессию Верховного совета, а вернулся в майке.

Еще один такой же человек приехал в Москву. Вернулся и говорит: «Некультурные люди в Москве живут. Я со всеми здоровался так, что язык распух, а со мной никто!»

Дело в том, что у коряков принято здороваться с любым встречным.

.....

Группка «не бей лежачего». Посмотрим, что будет дальше.

30. X.72

Позавтракали. Москва (*по радио. – Современный комментарий автора*) передала о нашем походе, назвав нас краеведами, комсомольцами, чуть ли не юными натуралистами.

Косыгин вчера попробовал гранат. Никак не мог понять, что это такое. Удивился очень. Ел его первый раз в жизни.

30. X.72

Райком комсомола. Увидели свою программу встреч и мероприятий в Елизово. Огромна и бессмысленна. Дело в том, что люди-то относятся к нам как к жуликам, а нас

собираются водить по улицам, как того слона, которого делают из мухи. Хотя, в сущности-то, всем на нас наплевать. Кто мы, что... никого это не интересует. Сгоняют людей в зал, и они тоскливыми глазами глядят на нас так, что стыдно становится.

Логически доказал секретарю порочность этих мероприятий. Сократили.

Были в школе. Клуб краеведов. Как всегда – старожилы, пенсионеры, пионеры. Но дети слушали с интересом. Все смотрел на них и думал: «Где же, в какое время их детской жизни они теряют веру? Становятся циничными и равнодушными ко всему? Где тот рубеж, на котором ложь и равнодушие перетягивает чашу весов в их сердцах?»

Потом нам дали список вопросов, которые мы должны были задать детям, а они должны были на эти вопросы ответить, так как еще за несколько дней до встречи выучили свои ответы наизусть.

Одна девочка полезла вне очереди – потянула руку, и вожатая стукнула ее по руке...



Искусственность всего. Железобетонная форма и серо-бумажное содержание. Ни одного живого, человеческого взгляда. Сонные мозги. Пионервожатые и учителя навязывают этим детям свою волю, выдавая ее за независимую волю тех, кому они ее навязывают. Искусственность, «внешность» и холодность.

...Мучаюсь от обязанностей спецкора. Чувствую себя от них не в своей тарелке.

31. X.72

День солнечный, как в апреле. Но морозный.

Приехали киношники. Снимались. Профанация, конечно, все, но ребята милые. Потом – все по старой схеме. Ходили, бродили, «работали»...

Кончил очерк. Не знаю, что получилось...

Вечером выступал в совхозе птичников. Клуб приличный. Организовано же все чудовищно, как, впрочем, и всегда.

Парторг – тонкогубый человек, с близко и глубоко посаженными глазами, маленького роста. Физиономия отвратительная. Так и хочется по ней съездить. И главное, ни за что

совершенно! Просто так. Вот бывает же! Видишь лицо, и... ничего вроде плохого тебе обладатель данного лица не сделал, а так и хочется в эту харю заехать, да побольней. Беда просто.

К концу своего выступления зал я раскачал все-таки, но диплом показывать не стал, не заслужили – и собирались долго, и раскачивались. Пообещал, что приеду в другой раз, если позовут... Позвали.

Вечером поужинали, выпили по 150 граммов водочки.

1. XI.72

Голова побаливала. Пошли на прием к первому секретарю райкома партии. Обаятельный человек, мягкий, искренний, красивый. Вообще, чем выше должность, тем симпатичнее ребята. По крайней мере здесь, на Камчатке. Но среднее звено!.. – ох, рутина, гниль, пакость, снобизм.

Второй секретарь райкома – улыбчив, хитер, пробивной неистово. Делает все не отходя от стола и мгновенно...

Поглядываю на карту – и берет оторопь. Что же нас там ждет впереди?!.. Под 60° ниже нуля, пурги, собаки... и что еще?

Потом пошли домой. Да, в райкоме подарили нам транзисторный приемник. Это они молодцы.

...Работал, отправил материал в газету. Потом заходили в школу, где нам обещали переснять фотографии... В учительскую я не пошел, остался в коридоре. Стоял, и пронзительное чувство охватило меня. Началась перемена, и дети высыпали из классов. Мальчики и девочки – такие разные, такие трогательные. Смотришь на какого-нибудь парнишку – и совершенно точно можно представить себе его, когда он будет взрослым, или девочка – лет четырнадцати – уже маленькая женщина, идет, походка меленькая, головку несет ровно, щеки румяные, носик кверху, так и знает, что смотрят на нее. Бегают дети, возятся, пирожки жуют, новостями делятся, конфетами... – замечательно!

Потом мылись в душе общежития, пообедали. Ходили к второму секретарю. Вечером выступал перед полком морской авиации. Выступалось трудно. Устал.

Да, вот уже третий день хочу написать о нашем шофере, да все забываю. Это «голый комплекс». Верней, клубок комплексов. Водитель он хороший, можно сказать, ас. 23 года. Ущемлен страшно своим положением шофера, хотя никто никогда ему повода для этого не дает. Но он ведет себя подчеркнуто развязно, а машиной управляет все время на грани риска, то есть если обгоняет, то зазор между машинами – два пальца, если гонит, то не менее 120 км/ч. За рулем он просто упивается мгновениями, когда «с цепи спускает» свои комплексы и рассчитывается с нами за все сразу. Тут уж он, Толя, дает себе волю и ликует внутренне, видя, как зеленеют от страха его пассажиры.

2. XI.72

День был странный. Утро хлопотное – искали спирт, доставали всякие продукты, мясо, соусы... Словом, делали все то, что необходимо было сделать не нам и много раньше.

Если бы не Санталов, второй секретарь райкома, пришлось бы нам туго, конечно.

Потом, после долгих сборов, записывались для радио Москвы. Много хотел сказать, но зажался, все растерял, и получилось комкано и плохо.

Выехали вместе с журналистами и Санталовым – они решили нас немного проводить, заодно и шашлык сделать. Выехали. Остановились. Сделали. Выпили.

Перед этим рубил дерево. Живое рубить было жалко. Увидел погибшую большую ветку, залез высоко с топором на березу и рубил долго. Все проклял. Подумалось, что ведь

такая это ерунда и для такого праздного дела, как шашлык, а как тяжело и надоедливо, а что ж если вот так – в тундре один и собьешься с пути?..

Врезали здорово. Косыгин – тонкий, поэтический человек, говорит умно и талантливо. Явный самородок...

Тогда-то с удивлением я вспомнил, что мы в милиции забыли наши карабины!.. Поехали в милицию. Зашли туда все «под сильной банкой»...

Начальник милиции называет себя «начальником полиции». Достали бутылку водки, вылили всю ее в кубок, который милиция получила за что-то. Двинулся кубок по кругу. Каянта стал читать стихи и танцевать. Ночь уже, милиция полна бичей и каких-то субъектов, а поэт читает нараспев стихи, и все слушают... В дверь ломаются просители, их не пускают... Странное зрелище.

Да, до этого днем видел в пельменной одну девочку, она выписывает чеки и деньги получает. Удивительное лицо, глаза глубокие-глубокие, голубые. При этом смотрит на всех, как на людей, которые стремятся ее обмануть, но знает, что этим смешна, и – где-то в глубине себя – сама себе улыбается.

Наконец отбыли. Каянта в машине поет. Да проехали немного – машина сломалась. Чинились. Все это время перед фарами Каянта танцевал корякские танцы...

Приехали в Начики. Это санаторий на горячих источниках. Поместили нас в физиокабинет, дали по одеялу, и все. Главврач хотел было Балаяна – как коллегу – и меня устроить куда-то в местечко получше. Но Каянта вмиг устроил бунт. Он был бухой и страшно возмущался: мол, Косыгин – все равно что Балаян, это всеми должно быть немедленно признано, не то он уедет!

Мы поспешили все уладить и отправились с Володей (*Каянта*) в уже неизбежный физиокабинет. Там стояло двадцать ванн, полных голубой горячей минеральной воды. Во всех кранах (в том числе в сортире) вода была горячая и газированная! Отопление санатория – от горячих источников. От Елизово это всего 60 км, но температура воздуха здесь –23 °С, то есть выше градусов на 30. Красотища неопишуемая. Снег кругом, много собак, но они не мерзнут, так как нежатся на крышках колодцев, теплых от горячих паров.

Спали в предбаннике, около ванн. Утром отвратительный крикливый голос, да еще с хохляцким выговором, нас разбудил. Это было 6.30 утра, плюс похмелье. Плюс огромная баба с огромной жопой. Ну, да бог с ней...

.....
Всю дорогу, пока ехали, думал о доме, о друзьях... Думал о том, что за мной, как разматывающаяся леска с катушки, тянется любовь всех дорогих мне людей, и она не оставляет меня даже здесь, на краю света.

Эта мысль меня пронзила и заняла на всю нашу дорогу до Начиков.

В машине Каянта рассказывал о корячке беременной, которая начала рожать и от боли упала лицом в костер, у нее лопнули глаза, и она родила мальчика, будучи уже слепой. Мальчик вырос и стал летчиком, потом попал в отряд космонавтов и в одном из полетов разбился. Урну с прахом прислали матери. Она ничего не могла понять и все бегала, слепая, почти обезумевшая, с урной праха своего сына... Так она никогда его и не видела.

3. XI.72

Проснулся с больными боками от жесткой кушетки и с ужасающей головой...

Красотища сумасшедшая. Собаки лежат на всех крышках канализации. Снег падает огромными лепешками. Тихо. Температура –5 °С. Хорошо. Ничего особенного не произошло пока. Позавтракали, устроились, пообедали. Потом сходили на почту, отправили письма.

Поработал. Некоторое состояние разброда и внутренней неустроенности...

Вообще, место это удивительное. Самое снежное на Камчатке. Стало быть, заваливает его снегом под крыши, а возле горячих ключей видна земля с жухлой травой, пар клубится, и от этого с крыш ближних домов длиннющие сосульки свисают, вонзаясь в сугробы.

В столовой – официантка, с чувственным скуластым лицом и изумительным голосом. Когда она произнесла первое слово, я вздрогнул и потом ждал с нетерпением, чтобы еще раз этот голос услышать. Что-то в нем волшебное, мелодичное, нежное... – трудно передать. Все, что она говорит, можно слушать без конца.

Вечером выступал перед отдыхающими. Ненавижу перед отдыхающими выступать. Сидят вялые и скучные, и нужно выкладываться. Клоуна им нужно...

Но потом принимали ванну. Вода минеральная бежит из крана, точнее – прямо из-под земли. Бежит себе, никто ее не подогревает. Просто вода вулканического происхождения. Это изумительно. Открываешь кран, и какая-то Божья Вода откуда-то льется...

.....

Над раковиной в общем туалете чистил зубы.

– Вы знаете, Сергей Михалков когда-то, в юности, был мой любимый поэт! – сказал мне срущий отдыхающий, который вчера побывал на моем выступлении. – Я многие его стихи знаю наизусть. – И начал мне читать отцовские стихи.

4. XI.72

Утром слышал, как женщины делают зарядку в коридоре.

Потом очень интересную беседу имел с тов. Сакеевым. Это корреспондент «Камчатской правды», специалист по рыбе. Он рассказал о совершенно преступном истреблении рыбы в Тихом океане, в частности, в Охотском море.

О том, что уничтожаются целые виды рыб. Что рыбаки ловят много, но улов не успевают обрабатывать и потому выбрасывают тысячи центнеров рыбы обратно. По технологии они должны с перегородками и льдом доставлять 450 центнеров рыбы, а они привозят 600 центнеров, у них не принимают, и остальное выбрасывается в море. Кроме того, сортность рыбы определяется по 10 штукам на выбор. От этого зависит выручка рыбака. Вот попадет случайно одна из этих рыб, с чуть подранной чешуей, все – 10 процентов идет 3-м сортом. Все зависит от приемщика, а жаловаться некуда, ибо рыбаки нарушают технологию, везя 600 центнеров вместо 450. Бывает так, что рыбаки скидываются и платят приемщику 1500 рублей только за то, чтобы он принял столько, сколько есть, и по той категории, какая есть на самом деле. То есть они доплачивают собственные деньги, чтобы получить то, что заработали по праву. Потери чудовищные. Около плавбазы стоят в очередь траулеры, чтобы отдать улов, но рыба портится, проще ее выкинуть и наловить новую. А другим плавбазам, скажем, Магаданской или Сахалинской, отдавать нельзя. Как так?! Почему?!.. А они другая область! Лучше выкинуть, но не дать им!..

И как это допущено, если государство-то одно?! Что же это такое?!.. Бывает так, что вынимают сеть, полную рыбьих останков, скелетов и голов – следы работы одного из траулеров, выбрасывающего улов, и, может быть, этого самого.

Короче, все, буквально все направленно на обоюдное усложнение отношений рыбаков и государства. Но улучшения быть не может. Чтобы все это хоть как-то улучшить, нужно отказаться от системы очковтирательства, лжи, отказаться от выдуманных, внешних принципов и символов. Отказаться от идолопоклонства, от партийного язычества. Это причина бед во всех отраслях жизни нашей страны.

Дальше весь день работал. Выводя на бумаге строчки репортажей для «Камчатского комсомольца», чувствую себя равнодушным сапожником.

Вечером опять купались в минеральных ваннах. Ощущение совершенно божественное. Вообще, приехать сюда работать над чем-то настоящим – сказка. Ванны, снег, охота...

Странички армейского дневника Никиты Михалкова

Потом читали с Зорием «Социализм и капитализм в цифрах». Как ни странно, книга эта издана у нас и представляет собой уникальное явление. Оказывается, мы отстаем по всем отраслям народного хозяйства от стран Запада в 2–3–5 раз. Те единственные, с кем мы выдерживаем сравнение, это мы сами в 1913 году. А сейчас мы обгоняем Америку только по ржи, но зато сильно проигрываем ей в лошадях, которые эту рожь употребляют.

5. XI.72

«Мороз и солнце, день чудесный». Не завтракал, стараюсь держать форму. День был довольно насыщенный. Работал. Закончил статью. Потом главврач устроил обед, приехал Санталов. Целого поросенка зажарили. Пили водку... Потом пошли в гости к хозяину. Косыгин нарезался и все пел украинские песни. И приставал к жене главврача, похожей на жабу. Увели его домой с трудом.

Я принимал ночью ванну, один, а потом голый и чуть трезвый пересчитывал оставшиеся у меня деньги...

В туалете, уже в корпусе, два человека пили водку. (Я пришел туда чистить зубы и т. д.) Они были у меня на выступлении, привязались. Мне уже было все равно, и я махнул с ними полстакана... Кончилось тем, что один из них подарил мне тельняшку.

Лег спать.

6. XI.72

Господи, Господи, Слава тебе, Господи. Но по порядку...

День с утра был изумительный. Хотя встал затемно, так как поспорил с Зорием, что пьянка не мешает мне встать рано. Голова, честно говоря, болела. Сделал зарядку, от которой голова и вовсе кругом пошла.

Кончали статью для «Комсомолки»...

И вот опять... Опять не хватило дня. Эта женщина с изумительным голосом... Как она на меня смотрела!.. Женственная и нежная. Говорит: «Вы бы зашли ко мне на чай, я одна живу». Поговорили недолго. «Я, – говорит, – одна, не замужем. Был парень, но спирт его спалил. Я здесь работала, с вербованными. Он ростом был с вас. А мне тогда уже было двадцать четыре года. Ну, полюбила его, женщиной стала, забеременела и все такое...»

Прекрасно она говорила и просто очень. А мне уж уезжать пора...

Там и еще одна женщина была. В лиловых брюках, с удивительной улыбкой. Зашла к нам, звала на санках кататься. Словом, не хватило одного дня.

Выехали. Дорога жуткая. Лед. Голый лед. Наш закомплексованный водитель гнал, как всегда. Сердце замирало. В результате нас понесло. Кинуло туда, сюда... – и перевернулись.

Бог спас всех нас. На такой скорости могло случиться нечто чудовищное... Стекло боковое вылетело. Раму погнуло.

Поставили машину на колеса, поехали дальше. Не знаю, что меня удержало, чтобы не набить этому супермену морду. Но я удержался. Выпил спирту, и все.

Заехали к одному камчадалу, который знал что-то про отряд Чубарова. Старик пьян был в лоскуты, толку от него не вышло никакого.

Затем Зорий делал шашлык из остатков райкомовской свиньи. Шашлык был изумителен. Пока делали его (прямо на шоссе), ни одной машины не видали.

...Выпили спирта. Уже темнело. Когда тронулись, по приемнику поймали музыку. Странно это было и приятно – вдруг среди этих снегов и сопков, где-то бог знает где, после

того как перевернулись на льду, делали на морозе шашлык и спирт пили, – услышать хорошую музыку.

Рысь! Дорогу нам перебежала рысь! Я выскочил из машины с ружьем, едва не попав под колеса, но она уже ушла в тайгу.

Уже совсем поздно доехали до Милькова. Фонари, транспаранты – праздник. Устроились в интернате. Все в одной комнате. Дописываю строчку и иду пить чай.

Да! без стекла ехать было холодно – надел торбаза. Просто печки на ногах.

7. XI.72

Походил по интернату. Тут остались только те дети, которых родители не взяли на праздник домой. Маленькие, грязные, смешные дети бродят по интернату – большому и пустому...

Детей осталось мало, да покормить-то их нужно. Бабка-повариха им чего-то наварила, но работать ей, конечно, неохота – праздник. Сидят за столом с ложками, галдят, жуют, хохочут. Большинство косоглазенькие – коряки и метисы-камчадалы.

Выехали. Дорога жуткая. Лед. Голый лед. Наш закомплексованный водитель гнал, как всегда. Сердце замирало. В результате нас понесло. Кинуло туда, сюда...

Так вот, приехали в райком. Первый секретарь – женщина. Раиса Андреевна. Лицо порочно, склеротические жилки по щекам, курит «Беломор», видимо, пьет, но глаза хищные (должна любить мальчиков).

Нас пригласили на сцену, и началось это деревянно-картонное шествие. Выступления, лозунги... Потом девочки-школьницы долго высказывались о любимой партии, а лет им было всего-то по 9–10! Это было довольно странно, противоестественно и просто дурно.

Так трудящиеся демонстрировали свою солидарность и любовь к правительствам – своим, соседним и центральным.

Дальше – отправил телеграммы командиру, ребятам и другие более или менее «нужные» поздравления. Пришли обратно в интернат. И там опять по лестницам бегали немые дети родителей, которым их не отдают. А как отдашь, если их папки да мамки – пьяницы-бичи?

Обедали. Потом ушел читать Достоевского, и как-то опять меня он придавил слегка. Дурной ходил после этого чтения...

Да, забыл про Косыгина смешную историю записать. Когда мы уже уезжали из Начиков, он с вечера еще не протрезвел и очки потерял. Нам ехать нужно, а у него очков нет! Так он и ушел из корпуса без них... А потом сзади раздается разбойничий свист. Стоит баба на дорожке и в два пальца свистит.

– Вовка! – кричит она. – Оптику забыл! – и, хохоча и скрипя валенками, бежит к нему с его очками в руках. Видно, он у нее и ночевал. Хулиган.

8. XI.72

Утро началось тоскливо. Работал. Потом сидели в штабуправлении. Потом поехали делать шашлык. Все это уже довольно грустно.

Пристреливал карабин и, если честно, стрелял плохо. Давило, что вечером нужно будет опять выступать.

Приехали назад. Погладилса... Выступали. Как ни странно, выступление прошло хорошо. Потом поехали в гости к Алле, завучу интерната. Косыгин там разошелся и расска-

зывает удивительные истории про свой народ. Истории пронзительные и трагичные. Во всех них звенит такой плач по народу своему, который и так дик, но жизнь его естественна, когда же к этой его жизни прикасается картонная рука государства, начинается трагедия... Смешной трогательный народ, которому хотят привить социалистическое идолопоклонство.

Умершего знатного табунщика, Героя Соц. Труда, похоронить решили по народному обычаю, то есть сжечь. Приехал партийный работник, говорил речь, но, по советскому раз... байству, дрова привезли сырые, да еще и организовано все было эдак – с отношением как к черножопым. Ну, сложили костер из этих дров, сверху положили мертвого этого героя и подожгли. А дрова-то сырые... И утром собака таскала по поселку кусок ноги этого бедного пастуха.

И много таких историй рассказывал Володя. Страшная картина за этим вставала. Жуткая.

Или вот: один старик, сказав своим детям, что в будущем году умрет, стал готовить себе сухие дрова. Готовил, готовил, а потом леспромхоз приехал, да и увез их.

Или еще: управлять табуном может только династия, фамилия. Стало быть, если есть табун, водит его только одна фамилия – все родственники. А им приказали внедрить *почин Гагановой*, то есть передовому бригадиру переходить в отстающую бригаду. И как такое здесь возможно? Это все равно что назначить человеку отца, или жену, или брата.

И вот старый пастух, Герой Соц. Труда, приехал в чужой табун. И захирел там совершенно, так как не принимают его вовсе. На кошме сидит в углу, никто его не слушается и не слушает, да он и не смеет говорить ничего. Он гость – и к нему с уважением, но уж в семейные дела не пускают.

Все это так похоже на то, что у нас. В сущности, все одинаково. Народы разные, обычаи разные, но причинно-следственные связи совершенно идентичны. Любое насилие, любая акция государства без учета привычек народа, обычаев, сущности его естества – все это приводит к трагедии либо карикатуре.

Каянта рассказывал, как мальчика-коряка выгнали из интерната за то, что он под подушкой держал камень, рыбу и оленье ножки, из которых мозг сосал. Это его необходимость, а ему китайскую курицу дают в банках. А он ее не ест. Сидит, смотрит молча на всех и мечтает о рыбе и оленьих ножках.

Вообще, рассказы Каянты о своем народе пронзительны.

А потом пошел спор с нашим «комиссаром». Ох, какая же он гнида! Был он с женой – тихая моль. Окончил пединститут, проработал год учителем и бросил. Вообще бездарен и ленив. Но жить-то хотца. А куда у нас бездарному человеку, да еще бездельнику и демагогу? В комсомол. На руководящую работу.

Теперь читает лекции об империализме. Равнодушный, циничный, бездарный – и еще хочет казаться убежденным и искренним. Я его так к стенке припер вместе со всей его партийной философией... Он мне в ответ пытался доказать, что все наши беды от «плохих людей». Именно так и сказал: «Плохие люди нам мешают жить, а хорошие помогают!» И это – руководитель.

Смешной трогательный народ, которому хотят привить социалистическое идолопоклонство.

Теперь его мечта – поступить в ВПШ. К тому же он тихий завистник. Жена его теперь тоже бросает педагогику и переходит на комсомольскую работу. Мерзость какая! Тихие гниды, черви. Вялые, но убежденные трутни.

Пришли домой поздно – злые и веселые, по крайней мере мы с Косыгиным и Балаяном. Долго еще трепались. Косыгин вовсе разошелся и два часа читал мне свои дневники.

Это хороший, трепетный мир, нежный и чистый. Но записан от чувственности торопливо, иногда не очень хорошо со вкусом.

Лег спать.

9. XI.72

Встал, сделал гимнастику.

Алла Васильевна. Завуч интерната. 25 лет. Экзальтация полная плюс комплекс провинциалки. Кажется, и не вполне нормальна. Во всем пытается доказать свою неслучайность в этом мире. Играет, хохочет, кричит. Самую простую мысль, банальную, пустую, высказывает с такой экзальтацией, хохотом, напором, что даже становится страшно.

Например, с криком и хохотом, буквально захлебываясь, может сообщить, что «Так хотела пить, что напилась компота, и теперь совершенно не хочется есть суп!!!» Болтает чушь без умолку. Пытается сообщить о себе самые разнообразные вещи, причем все одновременно: «Я вообще все время по телефону общаюсь! Ну, а как же? Времени-то нет: школа, интернат, вот родителям сейчас пойду дрова рубить, а как же? – я ведь спортом занималась, и первый секретарь райкома, она тоже занимается спортом, я ее знаю в лицо! Ну, а как же не знать? – сама мне партбилет вручала!..» И так далее, и все без умолку, тараторя, хохоча и вскрикивая.

Есть у нее дочь, очень капризная девочка.

Муж погиб. Алла говорит об этом так, «между прочим», но дает в то же время понять, что говорит так не от равнодушия, а оттого, что не желает распускаться и показывать на людях свое горе. Но именно этого-то ей больше всего и хочется. Чтобы слушали ее и жалели. Вообще, баба, конечно, несчастная. Много таких в России есть и было. Дочку свою любит очень, воспитывать не умеет. Чистоту возводит в культ, хоть сама и неопрятна.

Вечером нас повели на встречу со стариком, которому 82 года. Для Камчатки это все равно что на материке 150. Ужасно грустная была встреча. Дед еле слышит и чуть видит. Зубов почти нет, но память хоть и путанная, но светлая. Старый, трогательный, нищий дед. Забытый всем миром. Комсомольцы обращаются с ним как с «социалистической собственностью». Дед в 1923 году вывозил из Мильково командира Зенкова. Пока это единственный старик, который что-то помнит и может быть нам полезен.

Так вот – дед. Зовут его Кошкарев Иов Пектович. На материке никогда не был. Паровоза никогда не видел. Был у него сын, в 1942 году он ушел на войну и не вернулся. Иов Пектович – дед одинокий, скромный и трепетный. С 1954 года он уже не охотился и не рыбачил, то есть практически потерял всякую возможность кормиться, ибо прежде жил только охотой и рыбалкой. Жена умерла. Никого на целом свете у него больше нет.

Привели старика к нам на встречу, на разговор. Ввели по коридорам райкома. Ввели в кабинет. Хозяина кабинета не было, и старика посадили в кресло, за стол, под портрет Ленина. Стол с сукном зеленым. Как это ужасающе, страшно и пронзительно! Старый, забытый всеми дед под портретом Ленина на месте второго секретаря райкома, в его кресле.

С 1954 года он жил на пенсию в 20 рублей. Сестра его 78 лет получает 30 рублей, да есть еще одна сестра, совсем слепая, 68 лет – та без пенсии вовсе (каких-то документов у нее нет). Вот так они и жили втроем, на 50 рублей. Молчал дед и не ходил никуда – так и надо, мол. Вот уж Россия-то: или бунт черт-те с чего, или всю жизнь добровольное рабство.

Старик говорит, бывали дни, когда в доме и хлеба кусочка не было. Нашли Иова совсем недавно, пенсию прибавили до 60 рублей. И теперь дед говорит: «Нынче все хорошо». Купили ему костюм, а он верхнюю одежду называет «лопятишка». Хорошую одежду не носит, говорит, что бережет – в гроб ложиться. Хочу, мол, лечь красивым.

Как же они живут, эти три полуслепых человека? Ухаживать за ними некому... И на все согласны. Что же это за нация – на все согласная?..

Дед глуховат, так что если не нужно, чтобы он знал, о чем при нем говорят, достаточно говорить как обычно, не повышая голоса. А он сидит и, как раненый селезень, головой в разные стороны вертит.

Если же циничным и самодовольным комсомольцам угодно поговорить с самим дедом, они покрикивают на него сквозь улыбки.

10. XI.72

Утром поехали к деду – снимать его. Он чай пил со старухами своими. Засуетился, задержался. Да, забыл сказать, «государство ему помогает», как он сам нам сообщил. Как коренному камчадалу, ему дано недавно право на отлов рыбы. И это он считает помощью! Ему ежегодно выдают бумажку, которой он вот уже с 1954 года не может воспользоваться, так как на рыбалку не ходит – сил нет. И ловить рыбу некому.

Сняли мы старика, поговорили. Он проводил нас до машины, пожал руки и говорит: «Спасибо, что как с человеком со мной обошлись». Я чуть не заплакал.

Потом должны были устроить шашлык для Софроновой – секретаря. Поехали в лес. Хороши контрасты.

Я сказал ей, что деду нужны сапоги. Обещала помочь. Вообще, все это не стоит того, чтобы описывать, вот разве что одна ее история: когда Софронова приехала сюда комсомолкой с длинными косами, устроилась секретаршей в райком. Машинисткой. Много было работы. Печатала целый день. А первый секретарь и председатель райисполкома все ею любовались и даже попросили ее, пока она работает, разрешить им расчесать ей волосы. Она разрешила. А косы у нее были до колен. Они начали расчесывать... Это же с ума сойти. Печатает машинистка. Ночь. Райком. Два начальника расчесывают ей волосы, и приемная полна девичьих волос. Кафка!

Поехали домой, но все же заехали к Алле Васильевне, которая, как я заметил, все время тарашит глаза, чтобы они казались больше. Так вот, почему-то приехали к ней. Я был дурной и тяжелый. Все пили чай, только Косыгин несколько нарезался.

Потом мы вернулись, а Балаян пал. На летном поле под прожекторами лишил Аллу иллюзий. Утром представляю, что с ним будет. Я, честно говоря, таких баб боюсь, как огня.

11. XI.72

Так и есть. Балаян сидит, обхватив голову руками, и ждет прихода Аллы, как каторги. Это, конечно, начнутся многозначительные взгляды, томные недомолвки, вздохи и шепот на лестничной клетке.

За их отношениями наблюдаю с удовольствием. Балаян сам и хохочет, и страдает. Ох, и сволочи же мы!

Этот интернат меня допек. Мало того, что приходится все время заниматься какими-то дутыми цифрами и воспеванием советской власти, мало этого, так еще дети в коридорах сводят с ума.

Боже мой! Ну как же, как же возможно, чтобы из них выросли интересные или хотя бы приличные люди? Как они разговаривают друг с другом! Как они играют!.. Ведь никто ими не занимается. И точно так же, как на них рычат, вопят и орут воспитательницы, так и они орут, вопят и рычат друг на друга... Боже мой! Как же это возможно? Они все время

варятся в собственном соку. Ни притока к ним, ни выплеска нет. Малограмотные няньки, полуграмотные дети. Какое уж тут образование! Какая уж тут смена...

Достали свежей рыбы. Балаян обещает кормить впредь ухой. Готовит пока он отлично.

Уху дочиста съели – изумительна. Потом Зорий, по общему нашему мужскому закону подлости, ушел к Алле...

Я сел на кровать и смотрел на фотографию Степана. (На этом фото моему сыну 6 лет.)

12. XI.72

Утром собрались, выехали из Милькова. До этого заходили в райком. Сафронова вручила нам второй приемник. Попрощались.



Наш «УАЗ» на вертолетной площадке. Ноябрь 1972 года

Улицы пустынные. Воскресенье. Поехали. Дорога здесь широкая, расширена для лесовозов. Кругом по обочинам выкорчеванные корни деревьев. Зрелище мрачноватое...

Едем и едем себе, потом «супермен» попросил меня его сменить. Ради чего, я понять не могу – то ли из-за того, что утром на него попер, то ли еще финт какой-то. Короче, дальше «УАЗ» повел я. Машина верткая... Попали в многокилометровый сожженный лесным пожаром участок. Страшное зрелище. Миллионы голых, торчащих в небо обгоревших палок.

Потом опять вел «супермен». Проехали Долиновку, Таежное... Остановились в Атласово. Поселок назван в честь казачьего атамана Атласова, приведшего на Камчатку своих людей. Поселок большой – около 1500 человек. Зона, эски. Здесь содержатся особо тяжкие преступники, которым расстрел заменили этим лагерем. Лесоповал.

Вечером выступали. Принимали хорошо... Где же это я теперь нахожусь? Куда это меня занесло?

13. XI.72

Снится дом. Почти каждую ночь сны уносят меня на материк. К милым моим друзьям, Андрону, маме, отцу, Степану. Удивительно – расстояние и время стирают все лишнее. И если там, вдали, общение бывало омрачено чем-то, но в своей сути имело что-то доброе – здесь только это доброе в памяти и остается.

Или снятся страшные, кошмарные сны. В основном они связаны с армией: то я опаздываю из увольнения, то мне кажется, что я уже демобилизован и веду себя как демобилизованный, но тут оказывается, что это ошибка, и нужно начинать служить сначала. То снится какое-то начальство. Вот советский все-таки я человек! Снится начальство, а я в этих снах – какое-то хихикающее, уничижающееся существо. Вот уж отвратительно. Просыпаюсь в поту и ужасном настроении.

Вчера приснился вовсе кафкианский сон. Приснился Брежнев, но в виде женщины. Все как у него – и лицо, и брови, но только он – женщина. В женском костюме, в юбке. И я никак не пойму, как его называть. То ли Леонида Ильинична, то ли еще как?!..

Сидим в Атласово, ждем вертолета. Внутренне мечусь – от количества задумок, которые нужно осуществить. И для денег, и для радости.

Поехали в лес к лесорубам...

Это мощно и интересно. Вот уж где поистине возможности нет сачковать, да и надобности нет! Сколько заработал, столько и получил. Авторитет позы, фразы... – здесь с этим некуда деться. Все, что ты можешь, – выкладывайся, и за это получишь.

11 бригад, в каждой по 4 человека, работают на лесосеке. Работа тяжелая, но они ее любят. Что-то есть в ней варварское, мужественное. Вообще, варварство у России в крови, оно приятно! Просто приятно свалить дерево, а когда за это еще получаешь 500–800, а то и до 2000 (!) рублей в месяц!..

Психология этих ребят не похожа ни на какую психологию работников других профессий. Они все зависят друг от друга. Комплексные бригады – взаимозаменяемость. И что удивительно: дай столько зарабатывать любым другим, так те просто умрут от пьянства. А тут – нет. Пьянок ни одной. За прогул выгоняют с работы, сразу. За нарушение техники безопасности лишают «тринадцатой зарплаты», 50 % льгот, заработка. Если стоишь в очереди на квартиру – лишают очереди.

Плохо работаешь, ребята сразу выгоняют из бригады. И все – ни в одну бригаду тебя больше не возьмут. Вот она – заинтересованность! То есть все в твоих руках. Все. Хочешь иметь – работай. Чем больше работаешь, тем больше имеешь. Удивительно для нашего-то государства.

На лесозаводе работают зэки, имеющие сроки от «восьми» и выше. Бегать не пытаются. Работают хорошо. На «книжки» откладывается по 25 %. Остальные деньги распределяются так: 25 % на питание; 25 % на обмундирование, а 25 % на содержание собственной охраны. Это удивительно: хозрасчетный лагерь, который платит себе же, своему персоналу, зарплату и содержит собственную охрану. И при всех этих расходах ежемесячно на «книжку» откладывается до 200 рублей. Это моя зарплата и. о. режиссера-постановщика на «Мосфильме» или две зарплаты врача.

На руки же зэки получают примерно 15 рублей в месяц. 5 р. на «табак», 5 р. за вырабатываемый план и 4 рубля, если не сделали тебе замечаний.

Моя «зарплата» на флоте – 3 р. 80 коп.

В лесу смотрел, как эти парни валят свои «хлысты», так называются стволы, валят один за другим, валят и валят... Вспомнились мысли Достоевского о том, что русскому человеку всегда необходим смысл в деле. Необходимо знать, что дело твое кому-то нужно. То есть нужно не какому-нибудь человеку конкретно (как раз это не важно), а нужно людям вообще, какому-то их делу, пусть только как частица этого большого дела... А вот если валит он эти «хлысты», валит, а все это почему-то остается бесполезно... Как в том эпизоде (кажется, «Записки из подполья»), когда одних каторжников заставили переносить бревна в одну сторону, а других – в обратную, и когда они об этом узнали, начали они помирать вдруг один за другим...

Конечно, Достоевский писал о труде бесплатном, которому необходим хоть какой-нибудь стимул. Этим-то платят, но важно и то, что их душа пока спокойна...

Леспромхоз богат сказочно. Кормит его Япония. Древесина сплавляется плотами по реке до Усть-Камчатска, а оттуда в Японию. Древесина – лиственница. Дерево это дорого очень. Дерево-труженик. На отделку не годится, обрабатывается тяжело, вида не имеет, но по прочности уникально. На сваи японцы покупают в неограниченном количестве. Теперь *мулевой сплав* запрещен, то есть просто сплав леса без плотов. Официально 6 % сплавляемого леса давалось государством на утоп. За многие годы дно реки Камчатки просто выстлано этими топляками. Под Крапивной затонул катер, его хотели поднять, так водолаз, который пытался подцепить его, не мог сделать ни шага – мешали стволы деревьев, которыми усеяно дно. Река гибнет. Гибнет рыба. А ведь древесина эта составляет настоящий клад. Миллионы кубометров дерева лежат там. Японцы просят. За все платят золотом. К тому же, видимо, необходимо спасти реку – рыба уже не возвращается домой на нерест. Но никто об этом не думает, хотя рентабельность проекта очевидна: затраты необходимые на подъем топляка со дна с лихвой окупятся продажей этого леса Японии.



Лиственница на Камчатке

Кроме того, всю дорогу от Милькова до Атласова, по обе стороны нее, мы видели огромное количество изуродованных деревьев. Когда прокладывали трассу, лес корчевали, и вот он лежит теперь – гибнет. Мильково же задыхается от нехватки дров, возят их бог знает откуда – рубят березу стоячую, рубят на дрова! А тут лес лежит уже поваленный, погибший для промышленности, но годный для топки печей.



Рыба возвращается на нерест

Словом, СССР в действии. Причем отходы не учитываются. Как же тут должны воровать! И воруют, невозможно иначе. Воруют у государства и приписывают, ибо учета множеству отходов древесины не ведется. Это никому не нужно!

План есть. Лес есть. Все довольны. А необходимости считать все остальное – нет. Фантастическое государство. Потом, в один прекрасный день, когда вдруг запасы истощатся, начнут считать, смотреть, а после сажать и расстреливать, потому что выяснится – миллионы украдены, миллионы...

Нам просто так подарили свиную ногу, 100 патронов, 5 кг луку и т. д. и т. п. Сколько же нужно воровать, чтобы вот так запросто все это открыто подарить? Ведь не свои же деньги они за это заплатили. Значит, себе можно взять и побольше, и получше.

Неблагодарно так писать о людях, которые помогли, но они не виноваты. Это система заставляет их воровать. Ежедневно провоцирует, подталкивает, заставляет.

Балаян разделяет мясо. Ждем вертолета. Обещали завтра. Но что-то подозрительно задуло. Не засесть бы.

Да, совершенно забыл такой показательный пример. Вальщик Лукьянов, 28 лет, дважды награжденный знаменем «Камчатлеса», был премирован также два раза премией в 200 р. (в 1971 году и в этом), но ни разу эти суммы ему вручены не были! В свою очередь и он ни разу не обращался за этими деньгами ни к кому. То ли забывал, то ли ему было неловко, из-за высокого заработка. Но сам факт – 400 рублей, и вот так брошены. Трудно себе это представить в наших (московских, ленинградских и т. д.) условиях, хотя бы в среде творческих работников.

Вечером заварили собранные в пути мороженые ягоды крыжовника и пили этот отвар, очень вкусно... Но Балаяна и меня пронесло.

В течение всего дня, в разное время, пронзительно вспоминал дом и вообще разное. А мир живет, воюет, трудится, танцует...

14. XI.72

...Готовимся перебраться в Эссо.

Володя вечером рассказал о шамане Федоре Бекереве. Бекерев был лучшим в этом краю шаманом, а все дети его стали кто председателем колхоза, кто председателем райисполкома и так далее. (Жена Федора, Аграфена, – шаманка еще более, чем сам Федор.) За день до смерти Бекерев убил лучшую свою собаку и целый день гулял по лесу, потом пришел и помер.



Камчатский оленевод со своими подопечными

И еще одну трогательную историю рассказал Володя. Оленям в тундре не хватает соли весной. И вот однажды, в начале весны, нужно было перегнать оленей через реку, но река уже вздулась – и олени никак не хотели в нее лезть. Полдня мучились молодые пастухи, но пришел старик, плюнул и стал их ругать. Он на лыжах перебрался на ту сторону. Снял штаны и крикнул: «Э-э-э-й!» Все стадо на крик обернулось, стало смотреть на ту сторону. А старик начал ссать – и молодняк, увидев мочу и поняв, что там соль, кинулся в реку, и все стадо следом за ними бросилось на ломкий лед.

* * *

Пишу ночью, при свече, не получилось иначе... Но по порядку.

Ждали вертолета. Ждали долго. Зорий сказал, что тот, кто увидит его первым, зарабатывает сто граммов спирта сверх нормы. Я старался и заработал. Прилетел наконец вертолет. Но до этого мы долго сидели в нашем «уазике» молча и ждали его. Это была хорошая кинематографическая пауза – стоит посреди летного поля машина. В ней – люди, все они молчат и напряженно вслушиваются в тишину – не слышно ли звуков мотора...

Прилетел, поднял вихрь снежной пыли и сел. Погрузились. Вещей масса. Но быстро все перетащили и наконец-то распрощались с нашим «суперменом», которого я возненавидел.

Итак, погрузились и полетели. Мне все время почему-то было страшно (хотя летал-то я много, но тем не менее). Долетели до Эссо. Это в горах...



Эвенки, мама и сын, в 70-е

Место сказочное. Просто сказочное. Кругом сопки. Горячая лужа, которую забетонировали, и она стала бассейном. Эвенкский район. Живут тут ламуты (т. е. эвенки), как их называет Каянта – «камчатские евреи». Район чуть ли не самый маленький – всего три села.

Разместились в гостинице, в одном из номеров которой живут шесть учительниц, закончивших в этом году Московский пединститут им. Ленина. Разместились с трудностями, впрочем, как и всегда.

Пошли в райком. Попутно узнали об одной смешной особенности сего места: райком находится на одной стороне реки Быстрая, райисполком на другой. И когда эта река разливается, связи между ними никакой, так что на это время в поселке естественным образом возникает «двоевластие», причем решения одного органа власти могут быть полностью противоположны решениям другого.

Вечером выступали, что-то очень мне было трудно (но – «раз на раз не приходится!»). Потом поужинали и легли спать.

15. XI.72

Утром полетели на вертолете в табун. Видел сверху этот изумительный ландшафт. Красиво, сказочно.

Сели (летели-то всего минут 20). Табуна не было. Он ушел за сопки.

Здесь была только пурга. Хотя солнце прорывалось сквозь ветреное снежное марево, но мело сильно, и мороз был градусов за 25.

Стоит яранга. Два ламута в высоких торбазах и замшевых кухлянках нас встречали, прикрывая узкие свои глаза от вертолетного ветра, который ненадолго примешался к Божьему.

...Первобытный строй! Тысячелетиями эти люди жили здесь, и абсолютно так же(!), разве что «Спидолу» дала им советская власть да в партию велит вступать. Фактура гениальная! Бескрайние снежные, обтертые ветрами барханы, твердые, как камень. Сумасшедшая бабушка, эвенка, смотрела на нас, от пурги прикрыв глаза рукой. Очень маленькая и, хотя ей 89 лет, изумительно пластична и гибка. Каждая мышца на ее лице живет своею особой жизнью. Зовут ее Мария Афанасьевна Адуканова. Она потом пыталась по просьбе нашей танцевать «Наргиле», но сказала, что «Без бутылки не то!», и бросила.

Всего в яранге живет 5 человек, это они пасут табун в 2000 голов. Старику всего-то 55 лет. Говорит, что у него за всю жизнь не было ни одного дня отпуска. Костер в яранге горит, собаки у входа, нарты, на цепи казан над огнем, шкуры, грязно, дыра в потолке для дыма, младенец, смешной мальчик, косоглазенький и в маленьких торбазах, сидит на шкуре.



С семьей оленеводов

Бригадир молод, но беззуб, остроумен и ироничен. На вопрос, есть ли у них медицинская помощь, сказал, что врачей они не видят, только знают, что в районе есть больница, зато им в ноябре прислали мазь от комаров.

– Кино у вас бывает?

– Да. Вот пургу смотрим, дым от костра.

Они все понимают, эти ребята, но положение-то их такое: никуда не деться. Их жизнь в тундре. Кто бы их ни грабил, им деваться некуда. Кто бы ни обманывал – выхода у них нет. Юрта, костер, собаки, пурга, олени, жизнь. Все остальное – пустое. У них нечего отнять и некуда их сослать. Оттого они улыбаются, смеются, показывают в ноябре мазь от комаров, и бабушка просит выпить.

– Кино у вас бывает?

– Да. Вот пургу смотрим, дым от костра.

Улетал я от них в тоске и грусти, в жестокой тоске.

Прибыли в Эссо. Был звонок от первого секретаря обкома ВЛКСМ, который шумел – говорил, что мы поносим комсомол и вообще «подрываем все!». Это, конечно, жена нашего комиссара звон пустила по инстанциям. Не пропал тот вечер даром.

Уже часов в шесть поехали в совхоз «Анавгай». Это национальное село оленеводов. Мороз был приличный, дорога сложная, но ярко светила луна... Приехал с нами туда и завотделом пропаганды райкома, алкаш-эвен.

Над поселком дым стоит столбом от труб. Ветра нет. Только в морозном воздухе далеко-далеко разносятся песни Бюль-Бюль-оглы о Баку и других теплых странах. Смешно и пронзительно.

Выступали. В конце заставили петь «Я шагаю». В первом ряду очень серьезно сидели дети лет пяти-шести. Вообще все ламуты и их дети сидели, сплетя пальцы рук на животах... В этот день у них было перевыборное собрание в рабкоме, и по сему поводу новый председатель устроил пьянку, отчего в зале большая часть зрителей была в кусках. После выступления угостили и нас. Косыгин, естественно, нарезался и пел.

Приехали «домой». Свет в Эссо вырубается в 24 часа, так что уже было темно. Но все же я решил пойти в бассейн.

Вот с этого-то я и хотел начать писать сегодня! Это фантастика. Вот идешь по улице. Темно, хоть и не очень. Луна все-таки. Ну да, в руках у тебя полотенце, мочалка, мыло и шампунь, вроде бы все как положено, но не то чтобы в воду какую ступить, а просто руки из рукавиц вынуть страшно. Мороз! Снег хрустит. Иней на проводах. А над бассейном – пар! Но не хочется даже представить, что будешь сейчас раздеваться. От одной мысли становится жутко! Но все же...



Горячий бассейн в Эссо

Я разделся. Ноги примерзли мгновенно к бетонной плите. Все тело прожег холод. Я подбежал к воде и влез в нее. Боже мой! Боже мой, какая это сказка! Ключевая, горячая, мягкая вода под нависшими над ней тяжелыми от инея телеграфными проводами. Я мылся и плавал – и не верил, что я это я и что это вообще возможно.

Оттого, придя домой, не мог не записать все это. Когда собирал (уже одевшись) свои шмотки – мыло, мочалку, шампунь, – с трудом оторвал их от снега – за минуту примерзли.

Пришел домой, заледеневшую мочалку прицепил на гвоздь, и только когда уже сел писать, она оттаяла и шлепнулась на пол.

Еще из впечатлений, которые просто невозможно все подробно передать (особенно с моей эмоциональностью): видел дом, у которого чердак заколочен большими кусками коры. Это красиво. Хорошая фактура для какого-нибудь эпизода.

20. XI.72

Пропустил несколько дней, так как не было времени писать. Но по порядку. Утром поехали на забой, а до этого был еще занятный вечер. Меня пригласил к себе зоотехник – посмотреть его ленты кинолюбителя. Познакомились мы, когда летали в табун. Лицо его привлекло мое внимание сразу. Мужественное, красивое, суровое. Широкоплеч, молчалив. Я заговорил с ним. Молчалив, но точен и лаконичен в ответах.

Вечером я был у него. Обалдел. Чего только у него нет! Просто сокровищница. Шкуры, национальные одежды, бубны. Красиво, удивительно. Потом показывал свои фотографии. Очень интересно. Вообще, снимать его нужно. Фактурен, похож на Тасиро Мифунэ. Сам шьет себе замшевые одежды и меховые шапки. Ну, конечно, «махнули». Разговорились...



Кораль с оленями

Интересный парень, что и говорить. Я от него ушел, но следующим вечером сам позвонил ему, чем-то привлек он меня. Мир у него интересный. Говорит: «Приходи». Пришел, а у него две эвенки. Сели, потрепались и так далее. Словом, в ночь эту я пал. На шкуре медведя.

Утром уехали на забой. Это жестокое зрелище. Должны забить в этот сезон всего 1500 оленей. На этот раз их было 250. Кораль – огороженный загон-лабиринт, в котором одно отделение от другого отделено черными занавесками. Жутко смотреть, как на ветру, под открытым небом среди снегов и сопков, развеваются черные занавески, между которыми, биясь рогами, мечутся олени. Потом партию штук в 5–7 «отбивают» и загоняют в малый

отсек, и там из мелкашки стреляют в упор, в лоб. Олень падает на колени, и его тащат. Взвешивают, затаскивают головой на врытую в землю бочку и перерезают горло. Кровь хлещет в бочку, потом его заносят на этакий эшафот, сколоченный из досок, и «пластуют». Шкуры в одну сторону, мозги в другую, языки в третью и т. д.



Забой оленей

Поели мяса оленьего. Подарили нам шкуры и рога. Я их не взял, куда мне к моим-то, да еще и олени. Ребята поехали домой, и я поехал тоже, но только для того, чтобы взять карабин и патроны. Меня пригласили в тайгу на охоту...

Вернулись в Анавгай. Тут я провел три дня, но пролетели они, как один. Это было изумительно. Странно: ехал-то сюда, а возвращался мыслями домой. От этих мыслей слабнут колени, и поет, поет где-то внутри. Сладки мысли и радостны. То Степана перед собой вижу, то отца с матерью, то ребят, то девок своих, дур-куриц!

Приехал к плотнику Коле (*пригласившему меня на охоту. – Современный комментарий автора*). Лицо у него похоже на кукольную карикатуру на самого себя, сделанную у Образцова. Морщинистое, с оттопыренными ушами, и выражение на нем все время удивленное. Голова маленькая на тонкой шее. Остроумен и добр. Говорит, например, дочери: «Не балуйся, а то прибью гвоздем к стенке!» Та хохочет, аж на пол валится. Жена его – эвенка, фельдшер-акушер. Веселая, хорошая хозяйка. Держит мужика в руках. Она, например, на роды по вызову едет и его берет, воду греть и вообще дела делать. Он покорно поднимается и едет с ней, и днем и ночью. Дети у нее взрослые были, но не от Коли. Мужа ее первого зарезали спящего, из-за ревности. Еще там был очень здоровый парень. Наполовину грек, из Харькова. Зовут его Виктор. Глаз умный, хитрый, губы тонкие, злые. Родители на материке, но отношения с ними странные. Кажется, сидел. В отношениях со мной сначала был ироничен и пренебрежителен.

А еще там были Тюлькины. Замечательные Тюлькины. Горьковские. Волжские. Веселые, смешные. Она – Рая – с удивительным русским лицом. Волосы соломенные, глаза голубые, а ресницы и брови белые. Володя, муж ее, – механик. Зубы кривые, хохотун и про-

стак. Добр и открыт. Дочь их, Таня, на мать похожа. Ну, опять же выпили. Пошли волжские песни...

Утром ушли с Колей на охоту. Красотища неопишная. Снег, сопки лиловые, солнце всходило, и речная вода (река тоже зовется Анавгаем) – холодная, быстрая и совершенно изумрудно-зеленая. Шли по тайге, пробирались через завалы. Тяжело – чапыга, кедр... А поскольку поговаривали, что в округе объявился медведь-шатун, кроме ружья я тащил и карабин. Измучился, но молчал. Понял, что торбаза – вещь гениальная. Легки, мягки, теплы.

Старейший комсомолец с пафосом просил нас передать соседнему району дословно следующее: «Передайте им, что мы есть, что мы живем здесь!»

Ничего, кроме соболиных следов, не видели. Лайки бегали молча. В конце спугнули глухарку, которая пронеслась на «бреющем» полете у нас над головами. Стрелять не стали.

Пришли домой. Ах ты, Господи, что это за наслаждение – сесть на табуретку у печки после того, как пробежишь по тайге 20 верст, и вытянуть ноги! И посидеть так. Тело ломит, плечи болят, но благодать.

Сели обедать, ели олени сердца, пили спирт и разговаривали. Я должен был уезжать, но не вышло. Загудели. Пришли Тюлькины, потом Виктор, еще гости, и понеслось!.. Вечером пошли на танцы и плясали до упаду, так что на мне чуть торбаза не сгорела. А ироничный поначалу Виктор оказался и вовсе прекрасен. Возил меня на мотоцикле, да так, что я чуть от страха не помер...

Легли спать, а утром я сбежал, принес три бутылки, и завелись опять. Пошли на реку ловить гольцов и водку пили прямо на льду. Стреляли в цель из мелкашки. Я стрелял лучше всех, это чистая правда.

Вернулись в дом, варили застреленного «на рыбалке» зайца, и я опять бегал за «бескозырочкой». Девки наши совсем обалдели – и пили, и пели, и все подтягивались какие-то новые люди, и не было празднику конца. Я устал и прилег. Уснул... Но тут приехал Володя Косыгин за мной. «Я, – говорит, – по тебе соскучился, поехали домой». Да какое там! Опять побежал. Володя выпил и моментально запел. И как ведь пел хорошо!..

Потом ко мне подошел Витя и говорит:

– Слушай, ты знаешь, к нам кто ни приедет – все шкуры просят, а ты – нет. Ты нас всех этим прям-таки купил. Вот тебе от меня сумка пыжиков, а Толька тебе вот, смотри, медвежью шкуру держит и барана дубленого, и тарбагана на шапку, и кухлянку. Мы тебя полюбили, и ты нас помни!

У меня слезы так сами и побежали. Но уж он пошел плясать и петь. А Рая горьковская поцеловала меня в губы и смеялась все.

У машины все столпились и шумели. Русские люди – неумные!

Приехал домой пьяный и расстроенный...

Утром уезжать. У меня же, естественно, «головонька бо-бо, денежки тю-тю». Но ничего, начали собираться. В 8.00 нас ждали в райкоме партии.

Приехали. А там в кабинете секретаря сидит все бюро. При галстуках. Сама секретарь в черном костюме. Стали толкать деревянные речи. И трогательно все это было, и глупо ужасно.

Выступал старейший коммунист, всю жизнь проживший на Чукотке. Мало того, он еще оказался евреем. Верно Валентин Ежов сказал: «Уж если еврей сильный, так такой, что страшно, если глупый, то глупее не бывает, уж если северянин, то из всех северян северянин».

Потом выступил старейший комсомолец, который с пафосом просил нас передать соседнему району дословно следующее: «Передайте им, что мы есть, что мы живем здесь!» – и замолк. Просто по Андрею Платонову!

Подарили нам кукули (мешки спальные), термосы и рога оленьи для передачи в соседний регион.

Позавтракали, сели в вертолет и улетели в Козыревск. Ну и, естественно, забыли в Эссо все мои пленки, а также ботинки и кеды.

Из Козыревска нужно было лететь в Усть-Камчатск. Бортов нет. За вертолет платить нечем. Наконец через обком договорились. Над нами пролетал «Ли-2», его по радиации вызвали, посадили, и он нас забрал.

Сели в Усть-Камчатске. Устроились. Балаян сварил подаренные нам оленьи языки. Это изумительно вкусно. Дрова мы с Женей (*один из секретарей обкома комсомола. – Современный комментарий автора*) украли у соседей...

Очень трудно записывать в один присест впечатления нескольких дней. Чувствую, что многое теряется. Постараюсь впредь быть в этом отношении более оперативным.

Когда я сидел у ребят в Анавгае, подумал, что для русского характера очень важно, и даже необходимо – то есть то, без чего русский человек жить не может, – это возвращение. Всегда – возвращение. Потому, когда я от них уезжал, сходил сначала к горячему озеру и бросил в воду монетки, чтобы сюда вернуться. На обратном пути от озера, правда, упал здорово.

И еще: зрелость человеческая – это способность не оценивать других раньше времени. Уметь подождать, присмотреться, почувствовать изгибы характера, его странности, причуды.

21. XI.72

Утро началось с ожидания вертолета на Командорские острова, а именно – на остров Беринга. Но была накладка, и мы никуда не вылетели. Потеряли только время. Вернулись, и я сел дописывать статью для «Камчатского комсомольца». О, Господи! Как же мне надоело воспевать этот идиотизм! Наверное, именно воспевая, начинаешь ненавидеть по-настоящему.

Да, вспомнил опять про этого старика, Иова Титовича. Ему очки нужны были очень. Он и поведал о своей нужде одной знакомой комсомолке: «Внучка, мне бы... очки, что ли, надо». Та отвечает: «А вам какие нужны, дедушка? В аптеке теперь стекла +6 и –5, вам какие?»

– Да какие есть. – Удивителен русский характер. «Какие есть...»



С Володей Косыгиным

И еще, забыл совершенно! Девушки из Анавгая мне частушки спели, которых я не знал, все замечательные:

1. На Ивановской платформе
Х... стоял в военной форме,
А п...да на каблучках
Подошла к нему в очках.
2. Я б тебя, да я б тебя
да за три копейки!
Обокрала ты меня!
Отдай на х... деньги!
3. Из-за леса выбегает
Жеребенок без узды.
Моя милка потеряла
Документы от п...ды.
4. Моя милка из окошка
Высунула голову.
«По...те хоть немножко,
Помираю с голоду».

- Внучка, мне бы... очки, что ли, надо.
- А вам какие нужны, дедушка?
- Да какие есть.

Просто записал, так как боюсь забыть.

Вечером опять работал над статьей и проклял все! Закончил. И сразу сел писать сценарий для Хабаровска.

Зорий тем же вечером упрекнул меня, что плохо пишу (имел в виду статью). Это правда. Язык у меня в этих виршах мертвый, казенный и безвкусный. Но меня критика Зория задела, хотя я понимаю, что все правда. Решил почитать ему кусочки из повести. Давно сам их в руки не брал, и потому самому было интересно. Прочел. Надо сказать, мне понравилось. Кажется, придумано ничего. Зорию нравится тоже. Но посмотрим...

Лег спать.



Зорий Балаян

22. XI.72

Утром работал. Потом опять поехали на аэродром. День солнечный, но снова накладка. Вернулись. Зашли на почту. Мерзкие советские бабы почтовые. Крикливые хамки. Ненавижу таких баб. Всегда они с визгливыми голосами, ужасно едят – пальчик отогнет, а кусает от всего ломтя, да еще и в тарелку шиньоном залезет. Еще они нечистоплотны, склочны, да

и... многое!.. И вдруг я подумал: а виноваты ли они – несчастные эти, темные, измученные великоросски? Когда им о себе позаботиться? Жизнь их тороплива и суетлива, но с места не двигается. Вообще, все мы, вся страна, похожи на огромный пробуксовывающий паровоз, которому мечтается, что он летит на всех парах. А машинист все видит, знает, но всем только врет, потому что сделать ничего не может.

Ну, да ладно. Отправили с почты свою телеграмму и приехали домой. Я сел работать за машинку.

Бывают далеко от дома в течение дня мгновения пронзительные и сладостные. Мгновения эти коротки. Когда в секунду перед тобой проносится какое-то воспоминание или ощущение, когда-либо испытанное. Все невыносимо ясно стоит перед глазами, и сердце щемит. И дело даже не в том, дорого тебе это было тогда или нет. Чаще – нет. Но унесшееся время замещается каким-то остатком своим, оттиском в памяти чувства, остается в каких-то спрессованных точках, и из них всплывает вдруг все, как мираж. И запахи, и лица, и ощущения все... Длится это совсем недолго. А потом летишь себе дальше и дальше в своем настоящем, погружаясь в будущее и стремясь невольно к прошлому.

Вот и теперь музыку какую-то поймал. Музу вспомнил (*Муза Инграми – молодая светская львица 70-х, одна из тех редких советских дам, которые имели возможность путешествовать по миру, покупать дефицитные товары в «Березке», впоследствии вышедшая замуж за итальянца. – Современный комментарий автора*), вспомнил и всех мудаков, что вместе с ней вертятся.

Между прочим: дневник я пока не перечитываю и потому наверняка во многом повторяюсь. Но тем лучше – значит, это что-то во мне постоянно, значит, истинно.

...Работал. Ребята ушли в кино. Вернулись. Смотрели «Укрощение огня». Плевались. Это хорошо... А я успел помыться, истопил титан. Душ здесь дает только кипяток, да еще и мощной струей – как из шланга. Поэтому мылся из ведра, как в детстве.

Пришел Балаян, устроил ужин. Вкусно, как всегда. А потом все испортилось. Заспорили о Сталине и о Хрущеве. Ах, Володя. Как он ничего не понимает? Или просто не хочет? Или темен? Сказал, что ему Сталин милее Никиты, хотя отец его расстрелян в 37-м. Наивно уж об этом спорить. Нужно дело делать.

Теперь спать лягу, уже поздно. Хочется еще что-нибудь написать, да боюсь удариться в вечные мои «страдания».

Получил телеграмму от отца с мамой. Как же я по ним скучаю! – и уже даже не верится, что где-то есть они, Москва и вообще все то, к чему привык.

Как я себя ненавижу иногда! Иногда за то, что не могу выразить то, что чувствую, иногда же за то, что не могу выразить то, что от меня хотят. Выразить! Техника это или талант?... Сiju, доверяюсь вот этой бумаге. Выйдет ли что-нибудь из всех моих мыслей, из всей моей жизни?

Ну, вот и «застрадал». Ах ты, Господи!

23. XI.72

Утром сел работать. День ясный и очень морозный. После обеда прошлись. Зашли в универмаг. Я потом – снова за стол и просидел до вечера. В семь часов вечера – выступление. Пришли. Народу немного. Подошел какой-то человек, попросил записаться для областного радио. Записался, потом выступал. Все прошло как всегда. Без особых радостей.

Ужинали с секретарем райкома и председателем райисполкома. Скучно здесь им. Да и как будто все время боятся чего-то. Видно, жить им тут не сладко. Район рыбный и лесной, но проблема, что он у океана, – цунамиопасный район. Чуть что – эвакуация. Во время осеннего землетрясения в прошлом году началась паника. Народ кинулся бежать на материк. За 9

дней уехало 400 человек с семьями. Для такого и без того малонаселенного района такое количество уехавших считается большим.

Район рыбный и лесной, но проблема, что он у океана, – цунамиопасный район. Чуть что – эвакуация. Во время осеннего землетрясения в прошлом году началась паника.

Честно рассказали нам, что время от времени раздаются паникерские звонки в райком. Недавно, например, звонят: «Почему не эвакуируете? 17 минут прошло!» (А 17 минут – время, за которое нужно успеть эвакуировать население.) «А в чем дело?» – спрашивает секретарь. «Да как же?! Вон председатель рабкома на катер трудовые книжки понес, и всю ночь у него вездеход заведенный у дома стоял!»

Люди отсюда, в общем-то, бегут. Несколько лет назад в шторм оторвало вельбот. Унесло. Там был один только парень. Случилось это под Новый год. У парня с собой были осветительные ракеты. Он начал их пускать, но в это время начался салют, и его ракеты потонули, влившись в общий праздник! Так его и унесло. Новый год провел в шторме, на этом вельботе. Еще была у него бочка соленой рыбы и чай в термосе. Ел рыбу, пил чай и песни пел. Нашли его через неделю. Вернулся и сразу женился.

Вот и все на сегодня.

24. XI.72

Проснулись. Холодно было ночью, и снилось что-то очень сложное, но во всех этих сложных снах были пронзительнейшие места... Степа снился. Много и по-разному. А в конце, уже под утро, приснилось, что умер А. А. Вишневский (*профессор, главный хирург Министерства обороны СССР, умер только через три года, в 1975 г., именно в ноябре. – Современный комментарий автора*) Почему-то. А сегодня пятница.

Теперь должны лететь в Ключи. К самому высокому в мире действующему вулкану – Ключевскому. Чтобы попасть на вертолетную площадку, переправлялись на пароме.

Взлетели. Трудно описать этот пейзаж. Я все пытался определить его цвет... Это дымчато-лиловые сопки, с белыми замерзшими озерами, окаймленными кустарником, подернутым голубым инеем. И горы с изумительными тенями в ложбинах.

Сели в Ключах. Туман, поземка, – 25° мороза. Аэродром военный, а домик стоит – смешной и странный. Архитектура северная, дом двухэтажный, с лестницами внешними и надстроечками. Над домом этим хлопает и вьется разноцветный флаг, порванный по краям от ветра, а сам дом покрашен в шашечку черно-белую – весь как шахматная доска.



Самолет «Ан»-2 в 70-е

Вулкана не видно. Туман. Но оставаться было рискованно – могли засесть надолго. Полетели обратно на «Ан-2». Этажерка холодная, но прочная, как показалось. Сели в Усть-Камчатске...

Тут прервусь и, пока не забыл, запишу историю, рассказанную вчера Володей Косыгиным. Он выступал перед чукчами, а у них с коряками старая вражда, даже были войны!.. Выступает, значит, он уже расположил публику к себе, а там по ходу выступления и спрашивает: «Вы, – говорит, – корякское радио слушаете?..» А из зала отвечают: «А на хера нам корякское радио, у нас Канада близко!»

Да, так вот, сели мы и решили поужинать шашлыком. Был с нами секретарь райкома и зампред исполкома. Первый – запуганный, учитель в прошлом. Второй – свинья-фашист.

Учитель этот, видимо, всегда побаивается за свой желудок. Все его разговоры – про пищеварение, кишечник и говно.

«А шашлык этот есть можно? Не пронесет?» Потом все-таки есть начал, да все приговаривает: «Идет хорошо! Посмотрим, как будет выходить!» или «Эх, и подрищем!» и тому подобное. Словом, личность бледная такая, похожая на чуть живую моль.

Второй же – жестокая тварь, хотя глупая и пресмыкающаяся.

Пока шашлык ели, лица у них были, будто находятся они в стане противника, и никак не позволяет им большая воинская гордость показать, что кушанье им нравится.

Приехали домой (по пути отправил телеграмму Андрону). В комнате тепло – сразу спать хочется.

Удивительный народ. Великий. Рабский. Живет себе спокойно в этом ужасе, считая все это единственно возможной жизнью. И не потому, что не знает жизни другой. Другая ему «ни к чему».

Включаю приемник по вечерам, а там мир шумит, переливается, шевелится, шелестит... Музыка и радости, и нерадости – все там вместе. И мы тут – в богатейшем, изумительном и засранном краю! И вся жизнь этих людей, так же как жизнь всех нас, убога и гнусна в своей убогости. И в то же время... чистота проникает сквозь все это. И как возможно все соединить?

Удивительный народ. Великий. Рабский. Живет себе спокойно в этом ужасе, считая все это единственно возможной жизнью. И не потому, что не знает жизни другой. Другая ему «ни к чему». А главное, если и попытаешься открыть ему глаза на все, так он сам же тебя и растерзает.

Живут люди, ругаются, плюются, но живут, и ничего другого будто и не нужно. Для них есть Кто-то, кто ими руководит, тот, кто «Начальник», и его дело решать все самому. Царь он, и все тут! И больше ничего не нужно!

Что же делать? Зажимай народ этот – терпит. Отпусти вожжи, тебя же и сомнут. Так что же?..

25. XI.72

Мне снился сон. Будто я ищу свою часть и не могу найти. Вот, наконец, нахожу ее. Но почему-то на территории ее – странный многоэтажный дом, и второй строится. И много, много каких-то девушек. Они участвуют в строительстве этого дома. И сейчас какой-то праздник там, весело все и очень приподнято. «Боже мой, – думаю, – что же это такое?..»

Меня встретили ребята и повели к командиру, а он... почему-то очень старый. И улыбается – весь стол его завален подарками и конфетами, и цветами. Увидел меня и заплакал, и обнимает, и подарки сует, насыпает в карманы конфеты... «Да что случилось?» – спрашиваю. «Как я рад, – говорит. – Вот у нас и еще один день рождения старшины 2-й статьи Мишланова!» Вошел Мишланов, командир его тоже задаривает, оба плачут...

Потом я вышел, а навстречу Алла Ларионова ведет свою дочь. И громко возмущается, что дочь в армию забрали, а условий не создали! Мол, девочке всего 16 лет! Глянул я на девочку, а она – хорошенькая-прехорошенькая. Вот, думаю, как славно, что тебя, миленькая, в армию забрали, вот попала бы ты еще в нашу роту!..

Тут я и проснулся от холода. Володя вчера опять сетовал на тот вред, который принесло оленеводам гагановское движение. Я уже об этом писал – о передовиках, которых загоняют в «отстающие табуны», а там свои семьи, и никого больше им даром не нужно. Вообще, хорошо бы написать сценарий о пастухах. Фактура изумительная. Здесь даже и такое может быть, что Герой Соц. Труда – сын шамана. И вот (по этому сценарию, допустим) этого героя отправляют в табун отстающий. А там – своя семья, на него все «забывают болт», естественно. И его миссия, казалось бы, проваливается. Но(!) – в него влюбляется дочь бригадира, того самого, который никак не смирится с тем, что ему со стороны учителя прислали. И так далее...

Работал, писал сценарий для Хабаровска и закончил его. Вечером выступление в кино-театре. Неохота, но нужно.

25. XI.72

Утром сел я работать, но пришел какой-то человек в длинном тулупе и в шапке рваненькой. Человек довольно странный – с бородой и молодыми глазами. Спросил меня. Я, честно говоря, принял его за какого-нибудь фанатика или киномана. Хотел говорить с ним в коридоре, но он дал понять, что у него разговор. Сели на кухне. Он мне сказал, что у него много материала для «Фитиля», и спросил, не могу ли я чем-либо помочь в этом плане? Я

сказал, что не могу. Но в итоге мы разговорились. Он – «шабашник», то есть время от времени сюда приезжает работать. Что-то строить по подряду. Зарабатывает около 1500 рублей. Сам он москвич, радиофизик. Кончил МЭИ. Но говорит: «Мне нужно много денег, чтобы заниматься наукой. Чтобы меня никто уже не трогал. Чтобы быт меня не мучил. То есть нужно заработать где-то 50 тыс. рублей. И тогда уже все будет хорошо... У меня жена... Она кончила иняз. Сам знаешь, запросы-то у них большие. Вот я и езжу сюда уже три года подряд. Правда, трудно очень, и болею уже, вот зубы летят, как из пушки, и нога пухнет».

– А сколько тебе лет?

– Двадцать четыре. Да нет, денег-то я заработаю, вот только бы в Москву не ездить, уж очень трудно их не тратить. Я тут живу на 30 рублей в месяц. А там они как-то летят и летят.

– Да ты просто русский человек. У тебя никогда денег не будет, неужели не понимаешь? Он удивился.

– Нет, – говорит, – скоплю.

– Да никогда.

Улыбается застенчиво, а глаза горят. Вспомнил я «Подростка» (роман Ф. М. Достоевского. – *Современный комментарий автора*) с его «идеей». И подумал: «Вот этот парень ломается тут, рогом упирается, пашет по-черному, а там жена его сидит «из иняза» и получает от него каждый месяц полторы тысячи рублей. А кто она? И все ли он про нее знает?»

– Я все, за что берусь, довожу до точки, – говорит. – Вот в школе начал заниматься легкой атлетикой, но сломали меня. Стал чемпионом района, да мышцу порвал. Стал плавать – через год был мастером. Опять сломали. Потом корью заболел, чуть не умер. Врачи говорят: «Ты без белков не жилец». Я и правда на ходу шатался. А потом ребята говорят: «Поехали на Камчатку». Ну, думаю: «Или так, или никак». И уехал. Ничего – выжил.

Странный, интересный парень. Зовут его Юра Кокурин, даже его телефон записал: 273–34–30. Хотел бы с ним поговорить, когда он скопит эти деньги.

Вчера шел с выступления – горит мотоцикл. Толпа собралась. До чего же человек любопытен к чужой беде. Не участлив, а именно любопытен. Участие требует усилий, а любопытство ничего не требует. «Да, здорово, – думает человек, – эго его покорежило. Да, не повезло», – и пошел. Или стоит, глядит. Я такой же, к сожалению.

Весь день сегодня перепечатывали сценарий. Замучились.

Вечером разговаривали с Сашей Адабашьяном по телефону. У него там утро было. Я, видимо, его разбудил. Недаром всю ночь снилась собака, вот и с другом поговорил. Даже не верится, что где-то есть они все – и Москва, и ее людные улицы, и вообще все то, к чему я так привык и что люблю ужасно.

В 10.00 по нашему времени в «Календаре спорта» прозвучала страничка о нашем походе. Должен сказать, что часто чувствую себя жуликом. Настолько то, что говорю, разнится с тем, как думаю.

Уже поздно, ложусь спать. У нас тут ужасный мороз. Позвонил из города Юра Пшонкин, который делал про нас страничку... Хочу работать. Разговор с Сашей воспламенил меня вновь к фильму. Только не зажиматься! Освободиться, чтобы только был «мир» твой и героев.

Вот еще что подумал: «Костюм! Очень всегда помогает костюм в работе актерской». Но что лучше: сначала выяснить все с актером, дать ему возможность мять роль, мучить ее, доводить или сразу дать ему все внешнее и идти от этого?

Ну, да ладно. Только бы все было в порядке!

26. XI.72

Ох, до чего же иногда хочется разбить себе голову от ненависти, от бессилия. Ну что же это за государство? Картонные люди, похожие на тени. Все на одно лицо. Сидят в этой огромной чудовищной сети райкомов и обкомов, которые опутали страну. Похожие на тихих трутней или пауков.

Вся их жизнь – это сокрытие правды. Правды своей жизни, правды жизни своего народа. Ведь недаром же, недаром же настоящее событие, настоящая радость, и без всякой чужой помощи и «вздрычивания», охватывает людей, и они высыпают на улицы, и поют, и смеются. И как ужасно, фальшиво, унижительно веселье вынужденное, лживое, как и достижения, которыми на этом веселье бахвалятся. Как же все это больно!

Все думал о Сталине. Ненависть к нему порою достигает во мне каких-то идиотских размеров, хочется морду набить кому-нибудь. Что же он наделал? Уничтожил весь цвет, талант, надежду, разум интеллигенции, которая не могла бы, естественно, долго быть обманута этим адским человеком. Всю свободную мысль он подавил. Следовательно, уничтожил и талант. Талант без свободы – ничто, уродство. Он воспользовался тем злом, которое посеял Петр, разделив народ с интеллигенцией. Сталин сыграл на этой страшной ошибке торопливого, бурного гения. «Враг народа». И народ принимал все это на веру – то, что где-то в городах раскрывают заговоры «тунеядцев» и «жуликов» из тех, «которые в очках да в шляпах, шибко грамотные».

А потом начали формироваться, вскармливаться вот эти-то чудовищные кадры, которые повсюду задушили мысль и жизнь. Они росли, как грибы, и для них не было ничего святого. Ничего, кроме собственного благополучия, кроме необходимости скрыть свою серость, бездарность и прорасти, вылезти туда, где теплее, где сытнее, лучше. И немного ведь нужно достоинств для этого. Нужно больше молчать, стараться не лезть с предложениями, которые могут вызвать множество хлопот, и чаще говорить людям «нет», чем «да», так как за это не отвечаешь. «Да» нужно защищать, каждое «да» влечет за собой работу и ответственность. Эта чудовищная, еще с царского времени, бюрократическая машина и теперь ничуть не изменилась, а только стала мощней и обросла демагогическими оправданиями и лжеидейными лозунгами.

Но народ, народ! Вот что более всего удивляет меня. Ужели действительно не может он без царя? Тридцать лет он с благоговением принимал тиранию. Добровольно рабствовал. Потом возненавидел «избавителя» (*имеется в виду Н. С. Хрущев. – Современный комментарий автора*). Того, кто лишил его идолопоклонства, «советского язычества». С жалостью и восхищением вспоминает народ прошедшие времена. Когда все тряслись и одной кляузы было достаточно, чтобы стереть в порошок любого.

Теперь с воодушевлением врем о все лучше и лучше идущих делах. Как радио ни включишь – все молодцы кругом. Просто страна сплошных молодцов¹.

¹ Я тогда не знал слов Уинстона Черчилля: «Кто в молодости не был революционером – у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума». Эти слова в полной мере иллюстрируют те изменения, которые происходили с годами в моем мировоззрении, так же как и мою полную искренность и в 70-е годы, и сегодня. В те годы, под впечатлением XX съезда, «оттепели», все те обличения и «откровения», которые были подарены советскому обществу в отношении И. В. Сталина, расстрелянного Л. П. Берии и т. д., словно воодушевили народ на прозрение. И, как это часто бывает в такие периоды в народе, ощущение мгновенного прозрения вдруг в одночасье расставило простые ответы под множеством сложнейших вопросов, которые не могли не возникать у людей, живущих в столь огромной и многосоставной державе с множеством проблем. А тут вдруг всем стало понятно, кто в этих проблемах виноват и что именно не так он сделал. В чем, так сказать, состояло «абсолютное зло» на пути к коммунизму. Через какое-то время мы уже совершенно уверовали, что Сталин «воевал по глобусу», что никакой он не был Верховный Главнокомандующий, а был он бездарен, малограмотен, труслив, туп, кровожаден и даже психически болен. Хрущев в этой ситуации выглядел как человек, освободивший совет-

ский народ от ига заблуждения. И мало кому из нас приходило тогда в голову, что обличающая предыдущее руководство страны информация выдавалась очень избирательно и порционно, и в полном соответствии с политической конъюнктурой новых «щелочников власти». Мало кому вспомнились тогда слова Л. Н. Толстого, что «самый страшный враг правды – не ложь, а полуправда». Сегодня, когда мы с годами стали объективно знать больше (и в отношении статистических данных во всех областях, и в осмыслении стоящих тогда перед страной немислимых задач, которые в итоге оказались решены, и в отношении многих шагов внутренней и внешней политики Сталина), сегодня, когда мы имеем столь печальный опыт в итоге действительно безграмотных либо предательских действий вождей либеральных реформ, конечно, я уже не скажу так о Сталине. А тогда... 72-й год! – всего-то лет 10–15 назад пришла к нам «оттепель». Беспечная творческая интеллигенция, Политехнический музей, там – Окуджава, Евтушенко, Вознесенский, Белла... Журнал «Новый мир», публикации Солженицына, Астафьева. Феномен «лейтенантской прозы» – по-настоящему правдивая литература о войне. В кино – тоже первое свободное, свежее дыхание – Марлен Хуциев, Михаил Ромм... Ставшие доступными вдруг зарубежные фильмы. Было бы все это возможно при Сталине?.. Тогда бы я сказал: «Конечно нет!» А теперь... Не знаю. Проживи он еще пять или десять лет?.. Будущий писатель-диссидент Виктор Некрасов получил еще в 1947 году Сталинскую премию за правдивейшую повесть «В окопах Сталинграда». И «Дни Турбиных» Булгакова МХАТ восстановил в репертуаре только по личному указанию Сталина. Говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Но я не могу с этим согласиться. Принять эту мысль – значит лишить нас возможности вариативности в помыслах и рассуждениях, в детальном анализе истории. Мы не задумывались тогда о многом. В том числе о том, каким образом можно было за 2–3 месяца перевезти все заводы за Урал и буквально через считанные недели начать выпуск военной продукции для фронта! Нами это воспринималось просто как данность. А сегодня кажется фантастикой. Как ни странно, именно творческая интеллигенция в столице была единодушна в принятии на веру всех полуправд и обличений. Чего не скажешь о простом народе, который быстро отказал Хрущеву не только в любви, но и в элементарном уважении. Слово весь исторический опыт, природная интуиция и чувство самосохранения говорили народу, что истина – глубже и шире, чем сегодня преподносится. Как это было мне ни странно, далекий от «культурного центра» коряжский поэт Владимир Косыгин (литературный псевдоним Каянта), чей отец был расстрелян в 1937-м, с пеной у рта защищал Сталина, что для нас, его московских гостей, было абсолютным нонсенсом. Мы его просто ненавидели во время жарких споров... И Каянта был в своем великодушии не одинок: очень многие люди из народа, чьи отцы пострадали в годы репрессий, готовы были это Сталину простить. За что-то другое... – чего мы тогда не понимали и что начинает проясняться лишь сегодня. Шло время, был смещен Хрущев, под трескучие лозунги отрубил положенное на посту генсека Брежнев... И постепенно, незаметно стали уходить люди, которые «аукались» войной. Запах кожи португали, кобуры на ремне и ваксы на сапогах стал выветриваться. Счастливым звон орденов и медалей на кителях ветеранов стал затихать... И постепенно то пронзительное народное единение, те кровные узы, сотворенные Великой Победой, стали нивелироваться, словно освобождая место для предательства и обмана – вольных или невольных, не имеет значения. Явилась «перестройка», начатая человеком с интеллектом секретаря крайкома максимум, которому на плечи упала вдруг огромная страна и которого столь непринужденно обманул Запад, не выполнив ни одного своего обещания! Потом, после короткой борьбы с этим растяпой и демагогом, у него выхватил кремлевскую власть человек, для которого личная амбиция и личная обида имели куда большее значение, чем будущее его родины, и напрочь отсутствовало понимание того, что стратегически-серьезное планирование не имеет ничего общего с сиюминутной популярностью. Этот его популизм, близкородственный методам предшественника, но подвластный воле большого количества поводырей, привел к окончательному распаду прежнего государства – то есть Российской державы в границах, незыблемых уже несколько столетий. Привел к обнищанию народа и разграблению страны. Это разграбление было осуществлено в таких масштабах, которые мы до сих пор еще не можем осмыслить и признать по-настоящему (а я убежден, что это необходимо будет сделать на официальном уровне). И все-таки... все это было совершено и могло быть совершено только при молчаливом попустительстве со стороны народного большинства. И, говоря сегодня о своей переоценке роли Сталина, я остаюсь верен своим мыслям и чувствам в отношении чудовищной инфантильности «советского народа» и в то же время цинизма и полной индифферентности, привитых народу лицемерием советских чинуш. Их фальшивыми лозунгами, их вечным враньем о великих достижениях. Их рыбьим молчанием о действительных проблемах. Ведь именно такой – изверившийся, лишенный инициативы народ легко разграбить, разорить. Лишить исторической памяти, исказив его культурный код. И тогда окончательно растереть в пыль. Помогите, Господи, скорей нам исцелиться!



Сталин и Хрущев в 30-е гг.

Начальник отдела перевозок узнал, что у нас оружие, и стал его осматривать, потом потребовал сдать патроны.

На аэродром нас провожал товарищ Таскин Т. П. Зав. общим отделом РК КПСС. Лицо у т. Таскина – полного подлеца. Тонкие губы стрелками разрезали поперек отвратительную угристую рожу, которая все время кажется покрытой салом. Когда он говорит, верхняя губа подпрыгивает и виден ровный ряд железных, подернутых матовым блеском зубов. Пальцы его похожи на сардельки. Говорит незаконченными, неопределенными фразами. Всего боится. Первое, что хочет сделать, это поскорее уехать от всех тех людей и дел, которые ему поручили. Из всего делает проблему неразрешимую, но если вопрос решается вдруг положительно (естественно, не при его участии), товарищ Таскин сразу, как бы между прочим, сообщает, что он вообще-то старался. Во время разговора в глаза не смотрит, и все время всезнающая отвратительная улыбка блуждает по мокрым ленточкам-губам... Он провожал нас на аэродром, и мы опаздывали, самолет должен был уйти, но задержался чудом и взял нас. Таскин же, прощаясь, с чувством жал руки и гордо говорил – мол, видите, как все хорошо получилось.

Прилетели в Елизово. Мне туда переслали из части письма. Через город проехали на Халактырку. Там повстречался еще один экземпляр советского животного. Начальник отдела перевозок. Это – законник. Он узнал, что у нас оружие, и стал его осматривать, потом потребовал сдать патроны. Потом сообщил, что у нас слишком много груза и часть придется оставить. Причем говорил он все это с полуулыбкой, какая бывает у мастера спорта по шахматам, с которым о шахматах спорит профан, никогда их в глаза не видавший и выдающий себя за Ботвинника. Он спорил с нами, вынимая циркуляры, показывая параграфы, листая книги, в которых все было против нас. Я, честно говоря, был готов раскрыть его голову телефонным аппаратом. Он словно не понимал, что мы летим не на два дня и не яблоки везем продавать, что наш груз жизненно необходим для трехмесячного перехода.

Никакие аргументы нам не помогли. В итоге оставили там кукули, которые ох как необходимы. Когда теперь их нам пришлют – бог знает.

Прилетели в Усть-Большерецк. Летели самолетом «Ан-2». Холод был адский. Читал письма, хотя пальцы просто-таки примерзали к страничкам. Но дочитал все. Ведь это так приятно – читать письма с материка.

Разместились в самом райкоме, в маленькой комнатухе, все вчетвером. Но вскоре в райкоме взорвался бак, и отопление вышло из строя. По полу текут ручьи, хотя на улице около -30°C . Потолок крыт линолеумом и начал продавливаться от тяжести воды. Пришлось мне залезть Зорию на плечи и ножом пробивать в потолке дырки, чтобы вода вытекала, а не обвалила потолок.

Он словно не понимал, что мы летим не на два дня и не яблоки везем продавать, что наш груз жизненно необходим для трехмесячного перехода.

Поели. Я пописал письма, и легли спать.

Да, из потерь: Косыгин утопил в сортире фонарик.

27. XI.72

С утра работал. С ненавистью пишу для «Камчатского комсомольца». Презираю себя и все равно продолжаю писать всю эту ложь и фальшь. Но я где-то перепутал числа, и, кажется, сегодня вовсе не 27, а 28 число.



Андрей Арсеньевич Тарковский



Анатолий Солоницын в роли гениального русского художника Андрея Рублева в кинокартине «Андрей Рублев»

Весь день писал безобразия. Вечером пошли смотреть «Рублева». Не знаю почему, но смотрел я эту ленту много раз, а пронзила она меня сегодня. Подавила. Много в ней прекрасного. Но особенно меня затронул покой. В ней есть удивительный профессиональный покой. Он чувствуется во всем. И в монтаже, и в композиции, и в фактуре. В ней особенно. И молоко, и пух летящий. Хотя, конечно, много идет от ума, а не от сердца.

Пришли в райком, где мы живем сейчас, и захотелось выпить, что мы и сделали... Потом я пошел на почту, дал телеграмму Тарковскому.

Хоть и пытался втиснуть мысль и чувство в самые скупые строчки, уверен, столь пространственные сообщения отправлялись отсюда не часто. Может быть, никогда.

Вечером пошли смотреть «Рублева». Не знаю почему, но смотрел я эту ленту много раз, а пронзила она меня сегодня. В ней есть покой.

«Дорогой Андрей! Бог знает где, на краю света, смотрел на наволочке «Рублева». Не знаю почему, но после всех широких экранов, премьер и домов кино, именно здесь эта картина меня потрясла до самой сердцевины. Такая глубина, такой покой, такая всеобъемлющая

сущность, что не могу удержаться, чтобы не отправить тебе эту телеграмму. Обнимаю тебя. Твой Никита».

Ночью разговаривал с «Комсомолкой» – сквозь свисты и стоны эфира, звонки и крики, и сигналы космоса. Все-таки поговорили.

29. XI.72

Ровно месяц мы в походе. Утром поехали в Большерецкий совхоз. Директор – спокойный парень 32 лет. Первый человек, который занимается делом – и именно ему нечем хвастаться. Говорил, что совхоз тяжелый, что плана они не выполняют, что хвастаться тут нечем. Тяжело. Все нужно начинать сначала. Все с нуля. Обронил вскользь, что народ слишком долго обманывали старые директора. Кормили лозунгами и «завтраками», и вот теперь начинать все надо сызнова...

Потом пошли в школу. Там очень милый человек, старый камчадал, учитель труда, Владимир Викторович Степанов, рассказывал много и интересно. Говорит умно, толково, с юмором. Говорит, что рыбу погубили сами, особенно в сталинские времена. Сверху планы присылали. И, безропотно их выполняя, ловили рыбу, а вывозить-то было не на чем. Наловят миллионы центнеров, свалят, засолят, и тухнет она месяцами. Лосось выбран почти полностью.

Раньше, особенно в 1934 году, в реки входила рыба так, что от берега до берега «кишела» вода в несколько ярусов. В течение полутора месяцев и день и ночь шла рыба. Гибла от нехватки кислорода в реке. Можно было пойти за водой и в ведре с водой вместе захватить килограммов пять свежей рыбы. Сказочный был край, богатство адское, но хозяйева и по сю пору равнодушны ко всему, так как государство грабит и их, и природу, а раз так, то и у них один выход – грабить!

Должен признать, к ужасу своему, что народ в массе своей тут вообще равнодушен ко многому. То ли социальное его положение предрасполагает к этому, то ли зарботки, то ли невероятная удаленность от центра и временность жизни здесь, то ли еще что-то, но – равнодушен, индифферентен.

О рукопожатии: Бывает так, что, когда жмешь руку, неудачно зажимают твои пальцы, этак за кончики. Я лично этого ненавижу. Такое ощущение, что настроился помыться, разделся, включил воду, намок, а помыться не успел – вода кончилась. И вылезает, не помывшись, только мокрый... Ну, это к слову.

Вечером выступление.

Вообще, должен сказать, что перед глазами словно постепенно начинает вырисовываться этот полуостров в прошлом. Появляются ответы на вопрос – почему так тих он был и незаметен? У меня есть подозрение, что люди неплохо тут жили, во всяком случае, лучше, чем мужики в России-матушке.

Рыбы навалом, охота – любая, пушнины – сколь хочешь, леса – ради бога. Все есть. И гнутья ни на кого не нужно. Хочешь – ушел в лес, хочешь – вернулся. Так что тут надо бы еще разобраться.

Много заброшенных поселков. Да и повсюду стоят брошенные дома. Люди уезжают. Поселки закрывают из-за нерентабельности, даже дороги ко многим из них уже нет. И хотя в одном из них, к примеру, государство отгрохало огромный холодильник для рыбы, школу, ДК и т. д. – все сейчас брошено. Рыбу-то уничтожили. Ее нет, и в холодильнике хранить нечего. И для рабочих дела нет. Все брошено и стоит, обдуваемое снежными ветрами.

Но недалеко от одного такого поселка, как нам рассказали, до сих пор живет старик. Причем совершенно один. Жена от него давно сбежала... Всю жизнь он живет там. Сам

печет хлеб. Света у него нет... Хотелось бы на него посмотреть! Должен быть у него какой-то особый подход к миру, иначе никак не возможно. Надеюсь, все-таки к нему поедем, если районное начальство отпустит, не побоится.

Вечером выступали. Прошло все хорошо. Потом первый секретарь райкома пригласил нас к себе в кабинет. Сидели у него. Он рассказывал о здешней промышленности, да опять-таки рассказ его съехал на то, что многие поселки закрыты и «мертвыми» стоят совершенно. Кичих, в котором есть и холодильник, и школа, хотели сделать зверофермой, но ведомственная бумажная волокита засосала, время ушло, и поселок стал такие приносить убытки, что пришлось его скорей закрыть.

После нашей беседы начальство устроило ужин. Выпили, разговорились. Меня опять занесло. Говорили о Солженицыне, о Сталине, и я сказал, что нельзя критиковать производство, не дав его читать народу. Второй секретарь ответил мне, что в таком случае нужно печатать и «Майн кампф». Возражение демагогическое... да я вовремя понял, что, споря дальше, только наделаю бед.

Уже здорово подвыпили. Причем мешали всякое говно. Пошли спать в тоскливом ожидании утренней головной боли и маеты.

30. XI.72

Утром поехали в Октябрьский совхоз. Оттуда должны были попробовать добраться до Опалы, того самого заброшенного села, рядом с которым живет дед-отшельник.

Солнце было утром. День ясный. Ехали на газике берегом Охотского моря. Свинцового цвета, оно было тихо, хотя слывет самым коварным морем на Земле. Барашки рождались где-то далеко в море и летели к берегу на волнах прибой. Огромный пляж с черным песком и снег, сквозь который этот песок проглядывает. По всему побережью остатки японских рыб-заводов. Бочки, выброшенные штормами, бревна, ведра. «Красиво». Пограничник проверил у нас документы, и мы двинулись дальше. Машина то и дело буксовала, и ее приходилось буквально выносить на руках.

– Вы пили?

– Всю жизнь.

– А женщины?

– О-о. Пока работала «машина», стоило жить. Типэр я просто старий эврэй.

Добрались наконец до совхоза. Там же должен был ждать катер, но, как всегда, случилась накладка, которая все сломала.

В кабинете парторга сидело много народа. Мы вошли, и парторг этот, продолжая говорить, стал явно «работать на нас». Речь шла о самодеятельности, которой никто не хочет заниматься. Парторг объяснял, что эти артисты не народные, а «из народа». Тогда кто-то стал объяснять, что какой-то муж пообещал жену убить, если она хоть раз поедет на репетицию. Закончил все это идиотское совещание парторг чугунной фразой: «Народ нужно приучать к культуре!»

Ох, Господи!

Но катера так и не было. Может быть, все это даже продумано было заранее, так как слишком уж спокойно вел себя этот парторг.

Зато была встреча со странным человеком. Это еврей – Соломон Хаймович. Он живет в этих местах с 1923 года, ему 84. Никого у него нет. И не было никогда ни жены, ни детей. Лысый, лопоухий, некрасивый еврей, плохо говорящий по-русски.

В 1904 году Соломон перебрался из Польши в Англию, работал там «в рыбной промышленности». Плавал, потом стал гладильщиком готового платья. Потом отправился в Америку искать отца, который служил где-то клерком. Потом Бельгия, потом Россия. Говорит: «Я много слышал и социалистов, и коммунистов, и монархистов. Они выступали в Лондоне. Все хорошо говорили. Все болели за свой народ. Потом началась Февральская революция, и я решил посмотреть, что же это такое? И приехал... В школе я никогда не учился ни в какой. Нужно было есть хлеб. И английский язык я учил уже в порту. Мне дали прозвище «Чарли». Так как я уехал из Польши, то говорил только по-польски и по-еврейски. Приехал в Англию – все нужно было забывать и учить английский. Потом переехал в Россию – и опять нужно было есть хлеб и все забывать и учить русский. Работал мастером засола, икорным мастером у хозяина». Видимо, он был очень богат. Работяга, умница, ироничен и остроумен.

На вопрос, любил ли он икру, ответил:

– Я бы и типэр не отказался бы.

Чудовищный был бабник! Более всего на свете любил баб. Последний раз с женщиной был в 76 лет. Потом приглашал к себе женщин, и за 50 рублей они раздевались и голые мыли ему пол, а он глядел.

На вопрос, сколько теперь здесь делают икры, он грустно улыбнулся.

– Ми делали с хозяином 900 тысяч тонн, типэр кабынат дэлаит 12 тысяч тонн. И это смэшно и грустно.

– А в чем же дело? – спросил я.

– Слушайте анекдот. Пришел человек к парэкахэру и попросил побрить. Тот брээт, а пэну бросает на пол. «Что ви дэлаэтэ? – спрашивает его клээнт. – Зачем?» «Ви знаете, – отвечает тот, – я все равно завтра уезжаю». Тогда клээнт встал и пошел помочился в угол. «Эй, ви! – закричал цирульник. – Ви что?!» «Я уезжаю сегодня», – ответил клээнт.

Так и здэс: все приезжают на время. Никому ничего не дорого. За мою жизнь с 1934 года здесь сменилось 22 дирэктора.

Риби мало. У хозяина в штате было 7 человек, и ми делали дело, ми работали и трудились.

– Вы пили?

– Всю жизнь.

– Курили?

– Да.

– А женщины?

– О-о. Пока работала «машина», стоило жить. Типэр я просто старый эврэй.

И он расплылся в изумительной улыбке.

Уходя, он сказал, что в Москве хорошо, но когда приезжаешь – негде жить.

И еще:

– Ви знаэтэ, мнэ говорят, что я мэллионэр. Это смэшно. У мэня эсть денги, но до мэллиона долго.

Пошли на рыбзавод. Смотрели производство. Выступали прямо в цехе. Подарили нам ящик консервов.

Обратно ехали уже в темноте. Опять «носили на руках» «газик». Приехали, поужинали. Пошли в кино. «Вид на жительство». Культурно сделанная картина.

1. XII.72

Утром было много неприятных разговоров по телефону. И с Петропавловском, и с Хабаровском, и вообще. Потом плюнул на все, надел лыжи и ушел на охоту. Прошел через

взлетное поле аэродрома, а потом все дальше и дальше – в тундру. Погода была изумительная. Солнце ярчайшее, и в синей дымке вулканы, и облака над ними...

Порой проваливался, падал, и жутковато было от того, что один и такие сумасшедшие перед тобой просторы. Но шел быстро, вспотел аж. Ни следов никаких, ни дичи. И, только уже уйдя далеко совсем, в очередной раз провалившись, поднял несколько белых куропаток. Стрельнул для остротки, да промахнулся (впрочем, ничего в этом удивительного нет).

Потом торопился назад. Ждала баня.

Давно не мылись, и баня, тем более русская, черная, мерещилась и снилась, и казалась счастьем. Баня эта личная. Хозяина ее зовут Полиграф Сазонов. Смешной юркий мужичок с бородой, удивительно похожий на отца Григория Мелихова из «Тихого Дона». Сам, кстати, казак. Приехал за нами на своей лошади, заложенной в розвальни. Собрались и поехали.

Банька маленькая, и повернуться невозможно. Топлена густо, хотя пар и сыроват. Пока шли к ней, хозяйина звала все дочка, просила, чтобы он скорее шел, мол, случилось что-то. Хозяин отпер баньку и ушел за вениками. Вернулся, говорит: сын пьяный пришел, всех в доме гоняет.

– Сколько ему лет-то?

– Девятнадцать.

Разделись. Холодно в предбаннике, темно, одна свечка горит сквозь пар, который просачивается в щели из парилки. Но сознание того, что через несколько секунд войдешь в это сказочное тепло, пронзало. Наконец...

В самой баньке горела тусклая лампочка. Нам еще нужно было и постираться.

Вчетвером было тесно крайне, но все же поместились. Пол, однако, был холоден, и его срочно обдали горячей водой, от чего сразу пар стал мокрым и горячим.

Стирались, стучаясь мокрыми лбами и затами. А потом парились. Сказочно все это. Банька низкая, мне в рост стоять нельзя. Но все это было радостно и приятно. Потом мылись и опять хлестали себя вениками. От них сразу же в баньке запахло березой и мятой какой-то.

Потом выскакивали на снежок – и обратно на полок.

После мытья зашли к Полиграфу. Был у нас с собой спиртик, и приняты мы были гостями. В семье у него шесть человек детей: четыре девочки и два сына. Девочки очень одна на другую похожи и дурно воспитаны. Точнее, не воспитаны никак.

Жена Полиграфа – ительменка, Галина. После чьей-то свадьбы у нее подбит глаз. Зубов мало, да и те, что есть, – железные. Весела, смешлива и говорит чрезвычайно громко.

В избе нищета полнейшая. Но это та нищета, которая идет не от бедности, а от небрежения к внешним проявлениям жизни. Девочки (одной 11 лет, другой 9) стояли в соседней комнате и крутили на проигрывателе пластинки советских певцов. Одна была в цветастой шляпе. На вопросы не отвечали и все хохотали.

Выпили и супу поели. Полиграф «захорошел», да и Галина с подбитым глазом тоже. Сразу же достали семейные «фотки» и начали их демонстрировать. По характеру и манере поведения Полиграф ужасно похож на Эдика Володарского. Говорит, глаза горят, и все показывает.

Смотрим фотографии. И вот опять я подумал про «Ухова».

(Ухов – один из героев романа «Трава забвения» Валентина Катаева. Когда его, бандита, ведут на расстрел, на известковой стене он царапает гвоздем по пути «УХОВ... УХОВ... УХОВ...», как бы оставляя свой след на Земле. – Современный комментарий автора)

Они показывали «фотки», попутно рассказывая какие-то обрывочные истории их возникновения. Оба хохотали, кричали и смотрели друг на друга, а девочки, которые уже подошли к столу, теперь тоже выискивали себя, тыкали пальцем и кричали: «Это я плачу!», «А это Лидка!»...

Ухов, Ухов, Ухов... Самоутверждение. Что бы ни делало государство для обезличивания – невозможно это вовсе. Какой бы ни была та или иная жизнь, что бы она ни значила для других – для каждого она единственна, исполнена таинствами и непостижимой, неповторимой сказочностью. Смотрит человек на старую фотографию, и столько всплывает в нем такого, что и высказать нельзя. Вот оно – именно то, что и есть плоть и кровь искусства. Вот что должно интересовать художника! В глубь, в глубь характера, в глубь человеческой жизни, в недра ее...

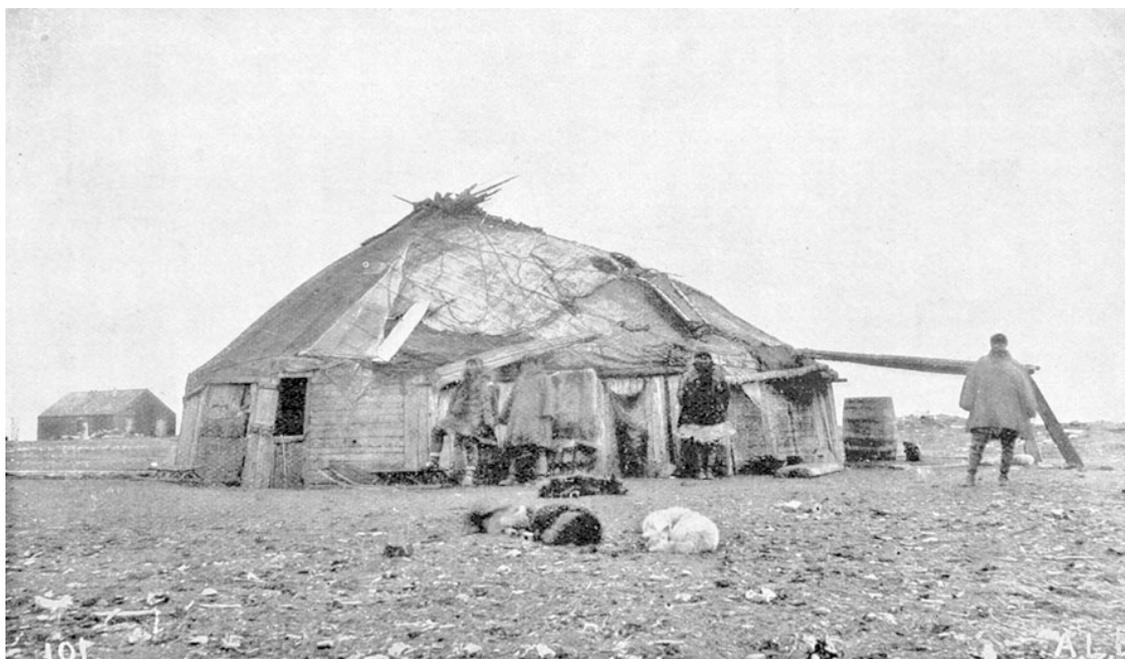
Пьяный уже совсем, Полиграф вез нас домой (в райком партии) на своей лошадке. Вез и шептал мне, что сын пьет и ничего нельзя с ним поделать.

– Он ведь больше всех в семье зарабатывает. 500–600 рублей. Вот и пьет... А потом всех гоняет по дому с топором.

Вечером пришел в райком секретарь – Томилин. Пришел в мороз в одном свитере. Скучно ему: жена в командировке, дочь учится. Сели мы «чаевать» и много выпили спирту. Говорили. Он мужик приятный. Косыгин опять «нарезался»... Легли спать.

2. XII.72

Утром пошли на охоту. Два парня, Петя и Витя, меня взяли с собой. Смешно. Приходится ходить на лыжах не в ботинках или валенках, а в болотных сапогах. Реки здесь не замерзают из-за множества ключей. И вот идешь по снегу на лыжах, потом, когда доходишь до реки, снимаешь лыжи, раскатываешь сапоги и дальше вброд – по ледяной реке. Страшно и приятно.



Жилище камчадала

День опять был изумительный, красоты такой никогда я не видел. Хоть и не было зверя, но следов масса, а это уже волнует охотничью душу. Ну и приключения были. Петя, хоть и мастер спорта по лыжам, умудрился все-таки одну лыжу сломать. И бежал 15 верст на обломке, но как бежал! Вот уж русский характер. Потом он же вдобавок еще провалился под лед. Но вылез молниеносно.

По рекам, в тех местах, где их схватило льдом, ходить жутковато. Лед «дышит» – и в проталинах булькает вода, и трещит он далеко впереди тебя и сзади.

Пили спирт на берегу, а потом и «Кубанскую». Почти темно уже было. На обратном пути прихватило мне палец на руке и три пальца на ногах. Испугался здорово. Тер снегом и махал для притока крови рукой так, что она чуть не оторвалась. А мороз все крепчал. Но ничего, добежали. Витя отдал мне свои рукавицы. Помогло это здорово, конечно.

Петя, хоть и мастер спорта по лыжам, умудрился все-таки одну лыжу сломать. И бежал 15 верст на обломке, но как бежал! Вот уж русский характер.

Домой пришел. Никого. Все в кино. Выпил с мороза маленько и пошел смотреть 2-ю серию «Рублева». Опять взволновала меня эта лента. Талантливо!..

Пришли ребята, начали мариновать мясо, а я сел за дневник.

* * *

Смешную фразу сказал Витя. Его хотели заставить работать на каком-то кране подъемном, а он все отказывался и так наконец сказал:

– Что вы, товарищи, мне нельзя. Я не могу. Какой там кран. На жену залезешь, и то голова кружится.

* * *

И еще вспомнил. Когда мы только приехали, наводнение в райкоме было (это когда бак взорвался). И прежде чем я на плечах у Зория начал ножом протыкать потолок, инструктор райкома делал это острием древка районного знамени.

3. XII.72

Утром проснулись от холода. Адская холодина была ночью. Я «дуба врезал» по-страшному. На этот день была назначена замечательная акция: Томилин вызвал Зория на соревнование по делению шашлыков.

Словом, страшный вышел «надирон». Семь человек выпили шесть бутылок спирта! Шашлык Балаяна был изумителен, впрочем, как и всегда. Томилин проиграл, сам это признал и уже ел только наш.

Ой, мамочки! Что я говорил изумленному пьяному секретарю! И про власть, и про Максима Горького, и про всю нашу жизнь и нищету. Проснулся утром в ужасе.

А дома снова сели «продолжать», и нарезался я ужасно. Ой, мамочки! Что я говорил изумленному пьяному секретарю! О-о-о-о-о! И про власть, и про Максима Горького, и про всю нашу жизнь и нищету. Проснулся утром в ужасе.

Хотя вечером казалось – спать я пошел сразу, как только почувствовал, что пора. Значит, уже стало заносить. Так со мной бывает редко. Дурно и нехорошо...

Володя опять, как всегда, хулиганил. С нами был вчера начальник милиции. Приехал на милицейской «канарейке». Володя уже плохо мог говорить и ходить, и его хотели закрыть в эту канарейку. Но, как только он понял, что его хотят упрятать в милицейскую машину, бросился бежать. А когда его поймали, плакал и вырывался.

Когда же протрезвел, рассказал веселую историю про коряка и ительмена. Два старика – коряк и ительмен – в больнице. Друг друга не понимают, а по-русски оба не говорят. И вот говорят друг с другом каждый на своем языке и хохочут с утра до вечера. А потом сшили себе из больничных одеял кукули и спали в них.

4. XII.72

«Головонька бо-бо, денежки тю-тю». Плохо мне. С тоской вспоминаю, что я вечером наговорил. Должны были лететь в Соболево. Но сильный северный ветер, и все самолеты – на земле. Хотя и ясно, но страшно ветрено.

Порою застываешь на месте, вспоминая дом. Причем воспоминания отнюдь не стройны. Обрывочны, но удивительно яркие. То какой-нибудь пейзаж встанет перед глазами, то чье-то лицо, то ощущение знакомое, волнующее. Гоню от себя все эти мысли, гоню, чтоб не мучили. О женщинах вообще и не думаю. Но, если и вспомнится вдруг кто, все кажутся такими замечательными, милыми...

Помучился же я похмельем. Потом пришел Томилин. Я-то думал, он все, что я наговорил, «намотал на ус». Но секретарь был мил, улыбчив, и, кажется, все обошлось. Вообще, парень он симпатичный, хотя и партийный до мозга кости. Но из тех, что делают дело. Работают, а не занимаются накоплением политического капитала. Этот – работяга. Делает он много для района, серьезно работает, хотя точка зрения его на жизнь совершенно советская. Молчалив, обаятелен и серьезен. Общаться с ним приятно. И еще что хорошо – чувствуется его рука во всем. И порядок в районе отличный. Люди его любят и уважают!

Пообедали в столовой. Вернулись – холод в райкоме страшный (видно, перехвалил я Томилину). Сел читать.

Дочитал ужаснейший роман писателя Мордовцева. Чудовищно сентиментальное говно.

Вечером было «падение» – прямо в райкоме, с дежурной по райкому. Довольно все было пошло. Подробности в устном пересказе.

6. XII.72

Сегодня день «Сталинской» конституции, которая с такой последовательностью и упорством укрепляет и развивает демократию в нашей стране.

Опять день ясный, но улететь не удалось. В Питере (*имеется в виду Петропавловск-на-Камчатке. – Современный комментарий автора*) ветер 25 м/сек. Никто не летает. Сел работать. Вернее, не работать, а переписывать из «Летописи комсомольских дел» все, что написано там о районе. Работа невероятно противная, я бы даже сказал, унижительная.

Сделал! Пошли в кино. (Уже сильно начинаем отставать от нашего графика.) Смотрели «Зеленые цепочки». Грамотно сделанная картина.

Когда возвращались, увидел в голубоватом соцветии заката и снега маленький хуторок. Он расположен был на склоне, и что придавало ему особенную красоту – то, что смотрел я на него тоже со склона, который был выше того, на котором стоял хуторок. Был хуторок огорожен забором, и линия этого забора несколько ломана... Это для «станции» (*имеется в виду станция для предстоящих съемок фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», объекты для которого я начинал обдумывать еще до службы на Камчатке. – Современный комментарий автора*).

Вечером произошло вновь «падение». Ох!.. Но и это не для бумаги.

Уже поздно ночью пришел Томилин. Привез из города пиво и яблоки. Видимо, он нас полюбил. Чувствуется, ему тесно здесь. Ему боя хочется, споров, дела настоящего, вот он к нам и привязался. Милый он мужик.

Вечером писал письмо Андрону. До этого от него получил телеграмму. Лег спать совсем уже поздно.

7. XII.72

Пуржит. Значит, опять не улетим никуда. Дописывал безобразный свой материал, который нужно отправлять в «Камчатский комсомолец». Все очень это унижительно.

Приехали артисты ансамбля «Джигиты ритма». Из Орджоникидзе. Узнаю братьев-артистов (в столовой встретились). Малограмотные снобы. В таких местах, как Усть-Большерецк, да и вообще Камчатка, они ведут себя надменно-снисходительно и глупо крайне. Мне все это знакомо. Они совершенно убеждены, что здесь, «черт-те где», живут нищие аборигены. Ох, как они недооценивают этот народ! Да и народ вообще. А везде люди живут. И везде у них жизнь – полная и особая, единственная.

Днем сел читать Бурсова «Личность Достоевского». И опять просто пронзило меня прикосновение к миру этого писателя, этого человека. Как он изумительно сказал о Гоголе, что кончился тот потому, что за гениальным смехом потерял идеал!.. Какая же он, Федор Михайлович, – мятущаяся, сумасшедше ортодоксальная личность. Да, немало в нем спорного, но все, во что он верит, все это горячо искренне. Потому он и к идейным противникам относился уважительно, если убеждения их были искренни. Издевался над насилием и узурпаторством, террором над мыслью, ее свободой.



Газета «Камчатский комсомолец» тех лет

Все через «Я». Только то, что для художника есть суть его жизни, какого-то этапа ее, суть его мыслей и чувств, – только об этом может он говорить, и это должно становиться предметом его искусства. Дело не в фабуле, а в позиции, в сути того, о чем художник говорит.

Вообще личность эта меня поражает – одновременно вдохновляет и цепенит. Столько чувствую я близкого, волнующего меня. А темперамент его, то есть чему невозможно подражать, захватывает меня и держит во власти, и корежит, и не отпускает.

Бурсов – молодец. Умница. Серьезный и смелый литератор.

Бардак в нашей комнате был уже такой, что даже страшно было его трогать.

Вечером решили пойти на концерт этих самых «Джигитов ритма». Смешно, конечно, но приятно. Вообще, район этот полон сюрреалистических моментов. Начиная с пробивания потолка знаменем и кончая данным вечером. Да что далеко ходить: мы решили поужинать перед концертом дома, сделать шашлык, но Володя, у которого был ключ от кабинета секретаря райкома комсомола, где находилось ведро с мясом, отправился куда-то гулять. Но есть хотелось, и я взялся залезть в этот кабинет через форточку. И залез! Странная была, видимо, сцена со стороны: в ночи из кабинета Первого секретаря райкома ВЛКСМ вылезает человек с ведром.

Потом были на концерте. Тоже все в том же духе. Народ ломится. Простодушный поселочек Усть-Большерецк. Артисты же всем своим видом претендуют на публику не менее квалифицированную, чем в «Олимпии».

Девочки из поселка – из-под платков и лисьих шапок торчат приклеенные длинные ресницы. И «Джигиты ритма» из Орджоникидзе – ансамбль, в котором все джигиты из евреев. Все это такое сюрреалистическое соединение масштабов! Вообще – страна сюр.

Видимо, только здесь, в наших просторах, при завуалированном, но фактическом неравенстве (это при внешней-то видимости равноправия) возможно уживание всего вместе. Причем всего того, что по всем законам уживаться не должно!

А эти девочки в залах РДК! Они ж по всей стране. В резиновых сапогах и в пуховых платочках, с приклеенными ресницами и с жаждой всего на свете! Все, что хочешь, будут слушать и смотреть, только давай. А потом обсуждение всего того, что увидели, а утром за лопату и – до синих кругов упираться.

Нет, «Джигиты» эти – ничего.

Кончился вечер вообще странно. До двух часов ночи в районном отделении милиции мы с начальником, голые по пояс, до потери сознания играли в пинг-понг на патроны. Полный сыр! Маг стоит, шарик стучит. Азарт, крики. Кто сидел в КПЗ – представляю, что они там думали.

Какой-то бред происходил и дома (то бишь в райкоме): Зорий ходил по коридорам комитета партии в голубых с начесом кальсонах с ведром в руках и что-то искал. Бардак в нашей комнате был уже такой, что даже страшно было его трогать. Мы уже должны бы жить, как те цыгане, которые между собой советуются: «Ну, что, этих детей вымоем или новых сделаем?»

И какой-то идиотский хохот стоял все это время. Притом юмор тоже сырный.

Лег спать и долго не мог уснуть, как-то разнервничался. Но уснул наконец.

8. XII.72

Встал. Погоды пока нет. Ждем. Может, будет. Но так ее и не было. Решили ехать машиной до города, а уж там самолетом до Тигиля.

Собрались. Все время мучает меня Достоевский (даже если давно отложил книгу, занялся чем-то бытовым). Как же он пронзает вечностью вопросов, которые ставит, общечеловечностью их! Это соотношение вечного с временным, личности с Вселенной, бесконечности с концом. Это соединение масштабов – миг жизни и триллионлетие звезды. Это попытка вместить в себя окружающий мир. В муках, в борьбе, в сомнениях вырастить и выразить свой мир, соотнестя его с Вселенной. И, наконец, это Вера. Вера и неверие, отчаяние и надежда, день и ночь бесконечной души человеческой. Страдание и радость борьбы духа с плотью...

...Погрузились и поехали. Двигались, в общем, нормально, но уже при подъезде к городу началась пурга, которая усиливалась с каждой минутой, и вскоре белая стена снега, несомого ураганным ветром, встала перед нами.



Федор Михайлович Достоевский

Добрались с трудом до Елизово. Ну, естественно, никакого разговора о самолете и быть не могло. Пурга. Начальник Елизовского летного отряда по лицу – веселый гангстер. Хохо-тун огромного роста, с горбатым носом и очень коротко стриженной головой, только спереди зачесанный чубчик. Лет ему примерно 45.

Решили ехать в город тайно и там хоть по-человечески помыться у Зория на квартире. К тому времени пурга стала просто ужасной. Ехали со скоростью 30 км/час. Но даже на такой скорости чуть не попали в большую аварию. Спасло нас только то, что идущая навстречу большая машина была от нас на приличном расстоянии. Нас вынесло на другую сторону, но потом так же вернуло обратно, когда мимо пролетел уже автобус «Экспресс».

27 км мы ехали 1 час 40 минут. Но все же доехали. Дом, дом!.. Какой бы он ни был, это дом. Растопили ящиками камин, титан. Зорий жарил мясо. И все это было блаженство сплошное. Теплый сортир, телефон (хоть и не работающий), чай, спирт... Голод, разжигаемый запахом шашлыка. А по телевизору Ю. Чулюкин на полном серьезе показывает многосерийную х...вину про прерии, про Америку и Аляску, про Хаджи Мурата, который стал

ковбоем. И ведь главное-то, что сделано все это без тени иронии и юмора, да и бездарно все отменно. Но смотреть даже такое сквозь утоляемый голод, теплый сортир, спирт и шашлык вполне приятно. А потом мытье. Сказать по чести, растопить титан было очень трудно, так как пурга, что мела на улице, задувала все подлейшим образом. Только растопишь, а тут как задует – и весь дым сквозь щели тащит в комнату. Замучились, но все же растопили... Шампунь! Гимн шампуню!

Стали укладываться. На полу, на вытертых шкурах. Постелились. Володя (как всегда, после легкого подпития) рассказал, сам того не замечая, трогательную историю:

– Я молодой был и влюбился в артистку из театра. Напился. И думаю, как же мне ей понравиться? И придумал. Дождался, пока кончился спектакль и артисты стали выходить. И, чтоб привлечь ее внимание, упал в грязную яму. Как был, в плаще, костюме и в очках, упал в яму и лежу. А они прошли мимо. Я так расстроился, что не стал вставать и уснул в этой яме. Утром подобрала милиция и отправила в вытрезвитель, и штраф заставили платить, и на работу написали, и вообще много бед мне любовь эта принесла.

Замечательная история. И одна из самых связных у Володи. Вообще же, он, конечно, совершеннейший поэт! При этом чаще всего даже не заботится о понятности того, что хочет выразить и что его волнует. Просто из него сразу вылетает какой-то яркий образ. Корявый, незаконченный, обрывочный, но образ! И дела нет, поймут его или нет.

А еще, если название того или иного предмета ассоциируется у него с каким-нибудь рифмованным или просто сходным по звучанию словом, Володя зачастую вообще отбрасывает официальное название предмета и зовет его дальше только этим словом. Так, подогреватель теперь он именуется проигрывателем, машинку – кишкой и так далее!..

9. XII.72.

Проснулись затемно. Нужно было ехать на аэродром, узнавать про возможность улететь. Спать же хотелось чудовищно. Но встали. Чайку попили. На улицу вышли.

Я никогда не видел, чтобы за одну ночь намело столько снега – по колено, а то и по пояс. Фонари горят. Суббота. Тепло. Тихо...

И школьники! Ну разве может этот человек с портфелем идти, как все люди? Ждите! Он ползет по груди в снегу, проваливается, выбирает самые глубокие места. Мокрый весь, потный, портфель полон снега, двойки смыло, в школу опоздал давно, но нет сил удержаться от соблазна. Ломоносов!.. И девочки с щebetом и хихиканьем гарцуют по снежку на ученье.

* * *

Тот сценарий, что мы написали для хабаровчан, они уже хотят запустить, но чтобы снимал я. Все понятно: хотят меня связать по рукам и ногам. Естественно – если я буду его снимать, придется стараться, тут на кондачка не пройдет.

Теперь голова забита этим фильмом, нужно найти философскую мысль – о чем картина, для чего ее делать? Но и тут опять я связан армией.

Что делать? Пока думать.

* * *

Вышел материал Зория в «Камчатской правде», все выкинуто, что было написано хоть как-то критически. Оставлено только «Ура!». Это вообще общегосударственная трагедия – наша печать. Что же это такое?!

Ведь никто уже правды не знает, нигде не читает, кроме руководящих работников, которые как раз выверяют ее от корки до корки, дабы не пропустить чего-либо такого, за что потом в...бут. Что же это такое?! Выхолощенная, изуродованная печать, чьи усилия направлены только на то, чтобы скрыть правду. От кого?! Это называется – ссать себе в карман. А что ж делать, раз есть директива: «Нельзя подрывать авторитета. Ничьего авторитета, особенно начальника».

Ну, еще бы! А как же иначе? Конечно, нельзя подрывать авторитетов, так как они не зарабатываются, а даются вместе с креслом. И защищают его те, кто его, это кресло, этот авторитет, дал. Демократия наша изумительная! А искусство наше – чахлое, отвратительное. Соцреализм – это «воспевание начальников в доступной им форме».

Женя Миловский, который работал преподавателем в школе, рассказывал, что им пришел приказ: на родительских собраниях при всех детей не ругать. То есть нельзя при всех родителях сказать одному из них, что его сын двоечник и мудила. Так как этот родитель может оказаться ответственным работником. Вот все вышли в коридор, а потом вызывай по одному и говори все, что хочешь, только не при всех. Нет, я понимаю, может быть, это и хорошо. Если бы это шло от гуманности, от деликатности, от нежелания доставить человеку неприятность. Так ведь нет же! Все это от ханжества, подлости и добровольного рабства.

* * *

День сегодня изумительный. Солнце, капель и тепло удивительно. И от этого очень грустно. Приятно, когда весной, когда почти сойдет снег, видна жухлая прошлогодняя трава. И на осень похоже очень. Но радостно от того, что знаешь – все равно весна. Весна! И ничего уже тут не поделаешь. А вот осенью или зимой выдастся весенний денек, а грустно. Временна эта радость. Кончится все, и запуржит, заметет все, и бог знает когда этот день наступит уже по-настоящему.

Поехали в город на переговоры с обкомом комсомола. Но до этого обедали в ресторане в поселке Елизово. За соседним столом сидели молодые женщины. Потом к ним подошла высокая длинноногая девушка, видимо, их добрая знакомая. Но там для нее не было стула, и она подошла к нам попросить стул. Я же сказал, что не только «можно», но я помогу его донести. Пошлый жест. Хотя хороший повод для знакомства, но... как-то так получилось, что и в лицо ей едва посмотрел, а потом сидел с пылающими ушами. И глупо чувствовал себя ужасно, хотя поступок-то мой, если его рассмотреть с точки зрения джентльменской, был совершенно прост и естественен.

Вышел материал Зория в «Камчатской правде», все выкинуто, что было написано хоть как-то критически. Оставлено только «Ура!».

В городе приехали в обком. Шумное картонное заведение – идет какой-то очередной семинар. Ходят молодчики с пылающим взором. «Штурмовики». Отвратительно.

Поговорили с Коробковым. Мехов нет до сих пор. Из Тигиля двигаться просто не в чем. Секретарь Овчинников (тот, кто всем этим должен заниматься) – эдакий прыщеватый, с соляными волосами, очкастый и закомплексованный человек. Смотрит в пол, темнит, мычит – ничего конкретного. Потом, уже надравшись, говорил мне: «Я и не думал, а ты, оказывается, простой парень». Значит, и у него тоже ко мне подход утилитарный. Да, как же я не привыкну к этому. У всех! У всех и всегда ко мне будет такой подход – зависти, недоверия и отчужденности.

Заехал в часть за посылкой. Оказывается, соскучился по ребятам и вообще по всему армейскому идиотизму. Помдежем по части стоял Мыльников, а Мишланова не было – в

увольнении. С Женькой мы обнялись, расцеловались, повел показывать мне новую казарму. Остальные все были в кино, и трогать их не стал, а хотелось увидеть.

Потом вернулся к Зорию, а там уже Косыгин и Овчинников. Словом, секретарь наш ухлестался в жопу. Спал между нами с Косыгиным на полу, бегал всю ночь травить и говорил почему-то по-английски.

Утром подъем в 6.00.

10. XII.72

Встали кое-как. Пришла машина. Поехали в аэропорт, съев по яичку. Опять глухо. Небо закрыто. Циклон. Ветер ураганный. Пришлось остаться в Елизово, в гостинице аэропорта.

Пошли давать телеграмму Пашатаеву в Хабару. Пообедали.

День разгулялся. Солнце слепящее. И тут то, что я увидел, возвращаясь из столовой, меня пронзило. Высоко, высоко в голубом небе летели два клина лебедей. Белые лебеди! Как это было замечательно! Лебеди в небе!.. Первый раз это видел. Сколько сразу навалилось ощущений, сколько чувств захватило меня – просто удивительно, и все совершенно необъяснимые, обрывочные и наивные.

Мы вышли на площадь около аэропорта. Множество народа ждало автобус. И тут я почувствовал на себе чей-то взгляд. На меня смотрела высокая девушка в ушанке, темных очках и хорошо сшитом пальто. Я прошел мимо, ужасно заинтригованный.

Зашли в здание аэропорта, ходили там. Вновь вышли на улицу. Опять она стоит, смотрит, улыбается. И вдруг подошла.

– Извините, вы Никита Михалков?

– Я, – отвечаю холодно (мол, а в чем дело-то?).

– Ничего. Извините.

Отошла. И хорошенькая, надо сказать. Я еще покрутился. Думаю, как же теперь к ней подойти? А она уж и не смотрит. Я все же подошел к ней.

– Скажите, а почему вы со мной заговорили?

Она улыбнулась.

– Просто вы вчера мне стул помогли подставить, помните? Мне девочки сказали, кто вы. А я не поверила.

А я ее не узнал теперь в шапке и в очках. Действительно, та самая девушка, которой я поднес стул! Неисповедимы пути Господни. Она оказалась преподавателем музыки в Елизово по классу аккордеона. Ей 23 года. Училась во Фрунзе. Теперь здесь, сбежала от мужа, замужем была всего два месяца. Родители ее теперь в Брянске. Папа – летчик-испытатель в отставке. Родственники есть в Москве.

Мы договорились увидеться. Через 2 часа она обещала позвонить ко мне в гостиницу.

– Это возьмите. – Она протянула мне кулек.

– Что это?

– Пирожки.

Ребята уехали в город, а я остался. Вот как важно быть вежливым и вовремя подать даме стул. Удивительно. Я шел в гостиницу и все думал, что ничего не делается Богом просто так. Какой-то огромный потаенный смысл есть в переплетении дорог и судеб человеческих. И ничто не проходит даром.

Ждал я долго, и она позвонила. Мы встретились на улице. Я дал ей ключ от номера, а сам пошел в аэропорт, в ресторан. Купил там вина и какой-то ужаснейшей закуски.

Она была в номере. Люся Богомолова. В общении проста и естественна. И ужасно обаятельно чуть заикается. Пили вино, трепались, а на улице наступали изумительные лиловые сумерки.

Она сказала, что здесь рядом, в общежитии, живут ее товарищи, которые сейчас «гуляют». И можно к ним пойти. Взяли спирту, пошли. По дороге встретили Володю и его прихватили. Там и впрямь гуляли, и уже изрядно «нализамшись». Часть их даже уже и стоять не могла. То есть многие лежали.

...Гитара, песни и рассказы. Все мешали и все пили. Володя стихи читал, пел и «кнопочек» разглядывал во все глаза. А я смотрел на Люсю, пьянел и все думал, что ничего просто так не бывает.

...На автобусе ехали в поселок. Ночь, темно. Потом шли какое-то время пешком... Люся зашла к подруге – взять у нее ключ от комнаты. Я ни к кому заходить не хотел, остался на улице. Но подруга по имени Неля вышла в халатике и затащила меня к себе.

Яичница была и конфеты, и спирт опять...

Пошли наконец к Люсе. Признаться честно, что-то во мне шевельнулось гнусноватое – а не остаться ли у этой Нели, тем более что она уже в халате. Ужас и кошмар. Но это, кроме всего прочего, было бы и предательством по отношению к «неисповедимости путей». Хотя, если бы я и остался, это тоже была бы неисповедимость.

Пришли наконец. Дом хороший, каменный, секции. Квартира на четвертом этаже, двухкомнатная, но во второй комнате живет соседка с сыном. Комнатка у Люси маленькая, чистая, девичья. Много таких комнаток я видел. В них всегда чисто, уютно...

Никто не лишил ее невинности! А она-то была убеждена, что давно уже женщина, просто ненавидит мужчин и не представляет, что это за радость в постели. Я ей сообщил, что только теперь она стала женщиной.

Помню, ушел я в Москве из дому в морозную ночь, надоело все. И пошел к Светлане, что жила в переулочке, рядом с нашим домом. Щенок жил у нее, и диванчик стоял, и книжечки на полках. Всего понемногу, но все есть. Она сидела в кресле и вязала что-то, я сидел на диванчике – смотрел на нее. И мы ничего не говорили, молчали. Замечательно это было... Девушкины комнаты...

Вот я и здесь, у Люси Богомоловой. Дальше все было прекрасно и трогательно... И мы хохотали с ней шепотом... Странно. У нее до мужа был любовник, потом муж, от которого она сбежала в первую брачную ночь и навсегда (с тех пор она здесь, уже два месяца). Но никто не лишил ее невинности! А она-то была убеждена, что давно уже женщина, просто ненавидит мужчин и не представляет, что это за радость в постели. Я ей сообщил, что только теперь она стала женщиной. А она вдруг начала хохотать – и над собой, и над своими мужиками, да и надо мной. Воистину, все это было прекрасно.

Потом она плакала от чего-то. Это уже одна, отвернувшись к стенке. Плакала тихо и не для того, чтобы я это слышал.

11. XII.72

Будильник ударил по больной голове в 7 утра. Что я? Где я? Темно... Все вспомнил!.. Никакой тяжести от всего, что было, я не испытывал. Лежал и слушал, как по трансляции передавали отрывки из «Принцессы Турандот», причем вместо текста пьесы говорили рекламные тексты о почте.

О, Господи! Как же кормит «общепит» великий советский народ! И, что самое удивительное, что всем тем, кто заскакивает в эту столовую перехватить, совершенно безразлично, как их кормят.

Я и забыл было совсем про соседку, которая прошлепала вдруг по коридору, выйдя из комнаты своей, и теперь я мог уйти только после нее – то есть когда она уйдет на работу.

Соседка шумно сходила в галльон, видимо, не прикрыв за собой дверь. Потом проснулся ее сын, как я быстро узнал – Гена, которому нужно было идти в школу.

Я сидел, спустив ноги с раскладушки, и слушал, как соседка готовила завтрак, как они ели и как потом Гена не мог найти пионерский галстук и книжки. Мама его тем временем мыла посуду, сама одевалась...

А мне нужно было торопиться. В любую минуту могли «открыть» аэропорт, и самолеты, один за другим, станут подниматься в воздух. Но я просидел час, пока соседка с сыном не ушли. Люся волновалась за меня и переживала, и спрашивала: что мне будет?

Да что мне будет?.. Она была трогательна и нежна. И потом я ушел.

Темно было очень, но люди спешили уже на работу, волоча сначала в детские сады своих детей. Сел в автобус. Он быстро наполнялся работягами. Деловые, хмурые, озабоченные люди. Давно я не ездил в утренних автобусах.

Справа от меня сидели два человека, молодой и постарше. Молодой сказал:

– Весь трясуся. Вчера перебрал.

А второй мечтательно ответил:

– А я вот все думаю, почему в Чили каждый день каждому ребенку дают по литру молока, а у нас нет?

Это было как раз время приезда Альенде в Москву.

«Что этим людям нужно? – думал я. – Как для них работать? Что делать? Ведь именно для них нужно работать. Только для них. А как? Если их интересует и радует только то, что у меня вызывает гнев, протест, ненависть? А они именно на этом воспитаны и в это верят, ибо нету у них ничего другого. Даже информации никакой, кроме этого нахального вранья, нет».

Приехал в гостиницу. Тихо. Кроме Володи, которого, видимо, вчера здорово «укачало», никого.

Лег, поспал.

После этого пошли обедать. О, Господи! Как же кормит «общепит» великий советский народ! И, что самое удивительное, что всем тем, кто заскакивает в эту столовую перехватить, совершенно безразлично, как их кормят. Как готовят и как подают. Скандал случится, только если нет хлеба, соли. Или если все очень уж холодное. А остальное посетителей волнует мало. Как будто общий принцип: «Сыт, и ладно». А уж чем накормили – вопрос десятый. И теперь выяснять это некогда. Да и всегда некогда.

Дальше дело развивалось так.

Весь день ждали погоды, но ее все «не давали», и вылет откладывался – сначала на час, потом на два... Наконец дали отбой на все время, до завтра. Зорий поехал с Женей в город, мы с Володей остались. Вообще, Володя несколько расцветает, когда остается без «папы». Как-то открываются сразу перед ним перспективы. Зория он любит, но ужасно его боится.

Я уже знал, что поеду в Елизово, да все откладывал этот момент. Люся была убеждена, что я улечу. Такая ситуация мне была странно приятна... А Володя все потирал руки, хихикал, и было ясно, что он напьется.

Некоторое время мы еще смаковали, каждый про себя, свою свободу, а потом оделись и пошли. На стоянке такси знакомый водитель сказал нам, что Зория много раз вызывали по радио. Я побежал в справку, и там мне сообщили, что для нас есть специальный борт, на котором мы можем лететь. Но ни Зория, ни Жени не было, и мы с Володей с чистой совестью поехали в Елизово.

Я не пошел сразу к Люсе. Для начала мы зашли с Володей в ресторан и поужинали, и только потом двинулись дальше. Около каких-то гаражей нас окликнули – это был Санталов. Тот самый гангстер – секретарь райкома. Разговорились, и он зазвал нас к себе... Но я все-таки должен был зайти сначала к Люсе!

Самый настоящий дождь в декабре, да еще на Камчатке! Это – гибель оленям. Ударит мороз, и весь олений корм останется подо льдом.

Володя увязался со мной... Ее не было дома. Дверь открыл тот самый школьник Гена «Хромосомов», который утром все не мог найти свой галстук. Потом я увидел и его маму – с ней я тоже был уже отчасти знаком по тем интимным звукам, что доносились этим утром из-за дверей Люсиной комнаты. Это была высокая и красивая молодая женщина. Я спросил Людмилу Николаевну Богомолу и просил передать, что заходили земляки. Я был совершенно уверен, что соседка опишет меня, и Люся поймет, кто заходил, а потому решил не называться. И мы отправились к Санталову.

Жена его красива, но, кажется, сука порядочная. Улыбчива, хозяйственна. Дочке год и 9 месяцев. Обаяние фантастическое. Человечек с голландской картины. И умница уже, и кокетка.

Сели за стол, выпили. Заспорили, разговорились. И опять о Солженицыне, о Сталине, об экономической нашей политике. Одним словом, все как всегда у меня с секретарями райкомов (хорошая фраза, если вдуматься). Но Санталов – умница. И не боится. У него есть профессия, он механизатор, и терять ему, в общем-то, нечего, оттого и приятен, и смел.

Так за разговором и не заметил я, как часы показали 2 часа ночи.

Я поднялся и сказал, что должен пойти в гости к одной девушке. Санталов завопил, что в это время никто уже никого в гости не ждет, но я все-таки стал одеваться. Тогда Санталов дал мне 25 минут и даже посоветовал для скорости не надевать сапоги, а бежать в тапочках – туда и обратно. Мол, все равно вернешься. Но я почему-то был уверен, что этот странный роман, начавшийся с поднесенного стула, не подведет.

...Было 15 минут третьего, когда я поднялся на 4 этаж. Я даже не успел позвонить, как дверь открылась. Люся меня ждала, и давно. Все сидела у входной двери.

Теперь она смеялась и говорила, что убеждена была, что я приду, что чуть не умерла, когда узнала, что мы с Володей приходили...

...Будильник зазвонил теперь уже без 20 минут семь. Я боялся, что опять стану свидетелем соседкиного туалета.

У Люси был заказан разговор с братом. Мы вышли на улицу. Темно было, и падал снег. У дома Санталова мы поцеловались и разошлись.

Санталов и Володя сидели за столом все так же, как я их оставил. Пили чай, спирт и трепались. Я к ним вновь присоединился, а через час Санталову нужно было идти в райком... Через час мы расстались.

Темными улицами шли мы с Володей на автостанцию, чтобы ехать в аэропорт. Снег падал, хрустел под ногами... И вдруг крепкий снежок, брошенный в Володю, попал ему в грудь. Это опять была Люся – она шла домой с переговорами... Люся была весела и смеялась, и рассказывала про брата. Володя шел рядом с нами – и я краем глаза видел, что он чему-то улыбается, словно рад был чему-то ужасно.

Автобус был пустой совсем, куда-то пропали вчерашние работяги или уже все уехали. Люся махала нам вслед рукой, а я просто на нее смотрел сквозь заднее стекло автобуса...

В гостинице выяснилось, что на Володю пришло три «телеги» из того общежития, куда я его взял с собой позавчера. Опять он что-то натворил.

Оказалось, все это писала жена шофера директора аэровокзала – конечно, сволочь страшная. Но вроде бы все обошлось, если не считать вконец испорченного настроения к похмельной и без того голове. Тоска зеленая.

12. XII.72

Поссорился с Зорием, который, видимо, не понимает, что принцип общения со мной должен все же несколько отличаться от принципа общения с мудаками, которым можно запудрить «на арапа» мозги и давить демагогическими догмами.

Но это не важно. Нужно было улетать.

Загрузили машину, доехали до самолета «Ли-2». Штурманом оказался один из парней, которые гуляли тогда в общежитии. Полетели. Ох, и тоскливо же мне было – страсть... Сели в Соболево. Вечером выступление. Уговорили летчиков остаться с нами, а завтра лететь в Тигиль. Согласились.

Устроились в гостинице. Номер люкс. Приняли отлично. Все хорошо, за исключением головной боли, да еще того, что очень уж странная в том люксе ванная комната. Дверь стеклянная. Ванна с одним вентиляем на кране. Над раковиной умывальника кран тоже с одним вентиляем, но над ним висит еще сосковый бачок. Унитаз нет, но есть писсуар, расположенный у самого окна – так, что, когда им пользуешься, возникает ощущение, что мочишься из окна прямо на улицу. Вообще, столь удивительной ванной комнаты я не видел еще никогда.

Весь день тоскливо мне было ужасно. Лег поспать... А вечером выступали. Знобило меня, и вообще самочувствие довольно х...вое.

Райком вечером устроил ужин в нашу честь. Володя, как обычно, вечером побунтовал, и легли спать.

13. XII.72

Утром чувствовал себя лучше. А на улице... дождь! Самый настоящий дождь в декабре, да еще на Камчатке! Это – гибель оленям. Ударит мороз, и весь олений корм останется подо льдом.

Лететь никуда нельзя, весь полуостров закрыт. Хотя и хриплю, все же уговорили меня выступить днем перед детьми в клубе.

До чего же ненавижу перед школьниками выступать! Вернее, не то, то есть не в этом дело... Просто, видимо, такое настроение, и не совсем хорошо себя чувствую.

Выступил. Пришли домой. Сделал все же зарядку и сел работать. На улице сильный и теплейший ветер. Дождь не прекращается... Видимо, вечером пойдем в кино.

Смотрели фильм Метальникова (*это сценарист, режиссер – Сергей Микаэлян. – Современное примечание автора*) «Расскажи мне о себе». Все-таки это другое поколение, но пронзительность есть. Картина достаточно искренняя и снята Микаэляном профессионально.

...Володя рассказал хорошую историю о том, что в тундре у пастухов-коряков есть поверье никогда не убивать волков. (Верней, раньше было такое поверье.) Но все же оберегать ночью стадо нужно. Так вот, пастухи, особенно старые, приучили себя во сне петь! Вот и поют всю ночь напролет, и сидя, и лежа, – перепевают все свои песни. Рассчитывая, что волк ходит вокруг стада, слышит песню пастуха и думает, что тот не спит.

Сегодня опять сел продолжать «Катушина» (*наброски незавершенного сценария. – Современное примечание автора*). Вновь мир его окружил меня и мучает. Надо бы двигаться дальше. Но куда идти?... Одно знаю – только проникновение, пронзительность и правда во всем – то, что может сделать Катушина живым человеком.

14. XII.72

Ночью был ураган. Ветер выл адски, и сквозь щели окна, у которого я спал, со свистом залетали снеговые вихри. Всю ночь «дуба врезал»!..

Утром ветер стих. Но все же сырость ужасная. Говорят, в Петропавловске и вовсе ад. Создан штаб. Люди на работу не ходят. По городу разрешено ездить только медицинским, милицейским машинам и спецавтобусам. Уже второй день нет электроэнергетики. Кошмар.

Все утро думал про Катюшина, читал Ф. М. Д.

Как сложно о своем герое в полный голос говорить! Что ни скажешь – все не до конца. Я еще подумал, что на самом деле все равны – и гений, и не гений. Равны в сущей жизни и в смерти. Мысль, кажется, не новая, но она меня порадовала, эдак гаденько. Вот гений – всю жизнь пытается приблизиться к истине, к решению главных вопросов, и приближается к ним, но все равно так и умирает с загадкой в душе, а не гений и не стремится приблизиться к какой-то отгадке, к постижению истины, и умирает, не задумываясь, в общем-то, об этом, а живя только насущной жизнью. Это было уже – когда Толстой сравнивал мальчика Федю (кажется) с Гёте и приходил к выводу, что Федя счастливее и честнее Гёте.

* * *

Читал, читал Ф. М. Д., потом делал гимнастику, потом пошли в райком.

Всюду висят надписи: «Достоинно встретим 50-летие образования СССР...» и т. д. Праздники, праздники!.. Зачем все это?! Неужели уже невозможно работать без допингов?!

Нет, невозможно. На то оно и идолопоклонство. Вздрючивают, вздрючивают народ, страшат, а он только вкалывает. За него обязательства дают, премии за него получают, а он пашет.

И нельзя этому строю иначе. Невозможно уже не сообщать по радио, что с каждым днем нам все лучше. И опять лучше. Уж, кажется, и некуда больше: 50 лет, и каждый день – все лучше и лучше.

«...В борьбу за достойную встречу Праздника 50-летия включился...» и т. д. И ничего живого, человеческого, чувственного, истинного – все ложь, суета и высокопарная демагогия коммунистических утопистов-язычников. Как же все это больно!

Сегодня мы с Зорием попросили милицию разрешить нам поговорить с человеком по фамилии Марков. Вчера ночью он застрелил свою мать. И вот мы к нему пришли.

Это маленького роста человек с глубоко посаженными боязливыми глазами. Говорит тихо, путаясь, но не от того, что лжет, а вообще от общего косноязычия и жуткого волнения.

Мать давно уже лежала в параличе. Ходила под себя и обузой была, конечно, большой. Пять лет назад один из братьев этого Евгения Маркова застрелил человека (из-за какой-то бабы). А сам Женька Марков жил с некой Катькой, которая здорово пила, как, впрочем, пил и сам Марков. Так вот, со слов Маркова так получается, что вечером он выпил, лег спать и ночью проснулся от того, что кто-то лез в окно. Перепугался он, выскочил в сени, схватил ружье и выстрелил... Это оказалась его мать. Но как она попала на улицу, Марков объяснить не мог – она ведь много лет уж не ходила.

Вероятно, все это вранье, но у меня этот человек вызвал жалость. Покорен и тих. Я спросил его, какое самое большое несчастье было у него в жизни. Он сказал:

– Когда жена моя первая меня бросила. – И так он об этом сказал, с такой болью, и видно было по глазам, как полетели далеко его воспоминания...

Там у него две дочери.

– Мы с ней хорошо жили, а потом появился один... И она к нему ушла.

– А зачем мать убил, нарочно?

– Я бы не убил, если б знал, что это мать... Хоть и трудно с ней было.

Жил он с этой Катькой, которая, видно, сказала ему: «Или я, или мать! Не могу я за ней больше ходить». Побоялся потерять он эту Катьку, уже по инерции – от того страха, который остался после предательства первой жены, и убил мать. (Конечно, это все предположения, тут я не слишком компетентен.)

А когда мы его спросили:

– Какое было самое большое твое в последние годы желание?

Он не понял – решил, что речь идет о последнем желании вообще, как перед казнью. Что с ним сделалось! Это невозможно сыграть, описать, повторить. Лицо изменилось, но не все сразу, а как-то отдельными участками затрепетало, задергалось, но тоже не резко, а словно ползла по нему изнутри какая-то тень. Длилось это считанные секунды.

– Как последнее? – чуть слышно спросил он.

– Последнее. В смысле самое большое желание твое за последнее время.

Придя в себя, он улыбнулся и ответил:

– Жить получше.

Удивительно он это сказал: «Жить получше». Я не берусь ни судить, ни оправдывать этого человека. Но я еще раз убедился, насколько истинность человеческого существа пронзительнее и ценнее любой имитации. Даже преступник, который заведомо лжет, играя со своею судьбой, истинен, но не в смысле правдивости своих «показаний», а в смысле своего ежеминутного существования. Это очень важно для актера. Только труд наблюдения – за людьми, за собой – дарит подобные находки!

15. XII.72

Снился какой-то замечательный, но сумбурный сон. Все в нем были. Радостный был это сон и приятный. Много раз просыпался я и даже говорил что-то. Даже, помню, засмеялся громко.

Проснулись. Ураган кончился, но лететь пока нельзя. Тигиль не принимает. Утром звонили секретарю, и тот не преминул выразить нам свое неудовольствие, что без его ведома таскались в милицию, общались с преступником Марковым. Это ему сообщил местный прокурор – человек с отвратительнейшим в мире лицом. Глаза навывкате, нос острый, и до того тонкая верхняя губа, что когда он улыбается, и вовсе она исчезает, обнажая огромные, лезущие вперед зубы. Ужасное произвело это лицо впечатление. Оно и доложило.

Зашли к секретарю, объяснились. Мышиная возня все это, конечно.

Важнее другое. В столовой еще раз убедился в том, что женщины наши удивительно некрасивы. «Благосостояние общества определяется количеством свободного времени». Кажется, Маркс сказал. А какое уж тут благосостояние, когда у женщины даже времени нет о себе подумать. Что ест – всем все равно, где живет – все равно, во что одета – все равно. Все – все равно.

Вечером смотрели плохую югославскую картину «Западня для генерала».

16. XII.72

День был, прямо сказать, насыщенный. Началось с того, что дали погоду – можно лететь. Прибыли на аэродром. Там летчики очищают полосы от прибывших давно и здесь застрявших самолетов. Ведь два дня шел дождь, потом снег, а теперь все это заморозило.

Колеса самолета проваливаются чуть ли не по оси в снег, под которым вода. Летчики торопятся. Солнечно – подтает дорожка, и опять сиди. Мы вчетвером начали им помогать отогревать печками и чехлами фюзеляж, лопасти и винты.

Тут на посадку зашел «Ли-2» из города. Все летчики, сколько их было, вышли к полосе смотреть. Это был первый рейс после того, как полоса была закрыта.

Довольно страшно было на это смотреть. Шасси самолета коснулись земли и сразу провалились в снежную жижу, но самолет продрался... И тут же его оторвало от земли и понесло в сторону с полосы, но летчик удержался на ней, и все обошлось.

Я стоял рядом с нашими пилотами и глядел на них. Все были мрачнее тучи. Второй пилот тихо сказал командиру:

– Видали? Мы так же заруливать будем?

Командир тонко улыбнулся в ответ.

После такого диалога, честно говоря, настроения у меня не прибавилось. Готовили машину долго, наконец пассажиры полезли в самолет.

Завелись и вырулили на полосу. Пока рулили, то и дело проваливались в снег, чуть не задевая крыльями полосу. Страшно было, наконец рванулись и помчались. Хвост таскался юзом из стороны в сторону. Самолет проваливался то одной, то другой стороной – так, что крылья махали. Я перекрестился, и тут мы взлетели. Пронесло.

Летим и летим, все вроде нормально. Прошло часа два. Я пошел к летчикам в кабину. Как раз начали снижаться. Молоко кругом сплошное...

По приборам видно, как теряем высоту. Уже всего 800 метров. Второй пилот посмотрел на меня и, видимо, увидев, что я не спокоен, улыбнулся.

– Сейчас вынырнем, – сказал он, – после шестисот.

Шасси самолета коснулись земли и сразу провалились в снежную жижу, но самолет продрался...

700 метров, 600, 500, 400, 300, а все молоко и молоко, не видно земли. Летчики зримо вспотели. Переговариваются по ларингам, а я ничего не слышу из-за грохота моторов.

Уже 200, 150, 100 метров! Нет земли, сплошная облачность и снег! Слышу, второй кричит командиру:

– Уходим, тут сопки под 150 метров, опасно!

И, задрав нос, наш «Ли-2» ушел на Палану...

Посадку просидел я с летчиками. Волнующее и странное это было зрелище.

Столица Корякии. Володя ушел к своей Фа, как он называет свою жену Фаину.

Разместились в гостинице. Пришел второй секретарь райкома партии Толстых Юрий Владимирович. Здоровый, белозубый сибиряк с обаятельной улыбкой. Разговорились, выпили спирту. Он после бани и где-то уж маленько «врезал». И теперь его «прихватило». Но мужик приятный. Стал зазывать нас в гости.

Жена его, как потом узнали мы, – тиран. Еврейка, держит своего русака в ежовых рукавицах. Но теперь она в командировке, и он «гуляет», спешит нагуляться.

Мы пошли в кино, пообещав ему, что позже зайдем обязательно. Смотрели чудовищную гадость Валерия Чахшу. И фильм мерзкий, и когда я его смотрел – ясно вспомнил лицо и повадку этого чванливого молдаванина.

Потом зашли к Толстых. И опять был «полный сыр». Опять Кафка.

У секретаря накрыт стол, помидорчики, огурчики, оленина и так далее. Кубанская. Выпили бутылку, вторую. Причем все это без Володи, а то бы... я просто не знаю, что могло произойти!

Второй секретарь наш в какое-то мгновение отключился вовсе. Повело его. На попытку уложить его спать ответил ударом Жене «по шарам». Я заволок его в спальню, и два часа мы с ним боролись. Но как! Он же – сибирский мужик, и вот началось! Пока Зорий убирал со стола, мы скатились с ним вместе с кровати. Я придавил его в углу и так вынужден был держать минут тридцать. Хороша сцена в квартире второго секретаря райкома.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.